

Станислав Венгловский

ПУШКИН,
ГОГОЛЬ
и
МИЦКЕВИЧ



Станислав Антонович Венгловский Пушкин, Гоголь и Мицкевич

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12831660

Станислав Венгловский. Пушкин, Гоголь и Мицкевич: «Геликон Плюс»;

Санкт-Петербург; 2015

ISBN 978-5-93682-876-8

Аннотация

В этой книге повествуется о глубоко затаённом знакомстве и тайном общении русского писателя Н. Гоголя с опальным польским поэтом А. Мицкевичем.

Рассказывается в ней также о взаимном и неизменном уважении поэта А. Пушкина к знаменитому поляку.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

101

Станислав Венгловский

Пушкин, Гоголь и Мицкевич

*Но глас поэзии чудесной
Сердца враждебные дружит —
Перед улыбкой муз небесной
Земная ненависть молчит.*

А. Пушкин

Все не то, что кажется.
Н. Гоголь

*Вечером, в ненастье стояли двое юношей
Под одним плащом, взявшись за руки.
Один был странник, пришедший с запада,
Неведомая жертва царского гнета,
Другой – поэт русского народа,
Прославленный на всем севере своими песнями¹.*

А. Мицкевич

© Венгловский С., 2015

© Геликон Плюс, 2015

¹ Перевод академика Н. К. Гудзия.

Все персонажи Николая Васильевича Гоголя – начиная с его Бисаврюка (в журнальном еще варианте) и заканчивая Чичиковым, – пропитаны какой-то неуловимой для нашего глаза тайной.

Никоша Яновский, по моему твердому убеждению, с младенческих лет казался несколько не примечательным мальчиком, скорее даже обыкновенным, притом – чересчур болезненным.

Это потом, когда он действительно сделался заметной фигурой среди всех литераторов столичного Санкт-Петербурга, то мать писателя, Мария Ивановна, души не чаявшая в своем единственном, уцелевшем от всяких болезней сыне, принялась его всячески превозносить. Она и придумала разного рода «причуды», которыми, якобы, отличался он ото всех остальных своих сверстников.

Впрочем, она и в дальнейшем боготворила сына. По свидетельствам тех же опять современников, продолжала уверять соседей-помещиков, да и каждого встречного, что это ему посчастливилось создавать паровозы, железные дороги, пароходы и всякое тому подобное прочее...

В нежинском лицее Гоголя неспроста называли «таинственным Карлой». Прозвание, возможно, прилипло к мальчишке в тот день и час, когда родители его, Василий Афона-

сьевич и Мария Ивановна Гоголь-Яновские, привезли туда нечто, закутанное в массу разноцветных, просто разбухших на нем одежек. Одновременно бросились сдирать с него эти пестрые оболочки. Загадочный шарик, на глазах у скопившихся лицеистов, стал превращаться в отрока с очень приметными золотушными россыпями по рыжей, как ржавчина, мальчишеской головенке. Из ушей у него свисали ватные завитушки, не слишком-то даже понятные для всех окружающих...

Таинственность своей необычной натуры гимназист Яновский демонстрировал не единожды. Никто не умел так искусно прикинуться тяжело больным, даже буйно помешанным. А цель у «помешанного» оставалась всегда одной и той же: насладиться впоследствии тишиной лицейского лазарета!

Никто не мог так удивительно здорово преображаться на театральных подмостках, которые вдруг объявлялись в лицейском самодеятельном театре! Исполнить там, скажем, роль глуповатой, зато чересчур уж властной старухи... При чем настолько мастерски, что все зрители проникались восторженным убеждением, будто это и есть перед ними сама госпожа Простакова, а не до боли знакомый, с вечными леденцами во рту, какой-то слишком уж длинноносый, свой в доску, воспитанник «Карлуша» Яновский.

А на эти спектакли съезжались люди, которые знали толк в театральном деле!

Никто, как он...

Да что говорить! Он действительно прослыл таковым. Известный в Нежине как сын захолустных помещиков просто Яновских – в Петербурге он вдруг возникает уже под фамилией Гоголь, почти и не слышанной никем среди большинства его однокашников...

Многие тайны писателя так и остались за семью печатями. Кое-что, правда, раскрыто было еще его современниками – как вот перипетии с поэмой о Ганце Кюхельгартене. До настоящей истории с этим произведением «докопался» пытливый земляк Николая Васильевича, украинский этнограф, публицист, поэт и писатель Пантелеймон Александрович Кулиш, сочинивший о Гоголе особый двухтомный труд.

Но сколько еще из того, что было искусно придумано им, так и закаменело в своей неразгаданности!

Трудно даже сказать.

Одной из важнейших загадок писателя, по нашему мнению, является тайна, связанная с его всемирно известной повестью «Тарас Бульба». Одновременно – что поначалу покажется слишком уж странным, – и с гениальным польским поэтом Адамом Мицкевичем.

Только чур...

Не лучше ль поведать про все по порядку?..

Давно уже было замечено, что после каждого явного литературного взлета писатель Гоголь-Яновский позволял себе

продолжительную поездку. Вроде награды за приложенные им труды. Совершал как бы круг почета.

Что касается дальней дороги – она всегда представлялась ему величайшим благом...

Так получилось после выхода в свет «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Так было при появлении сборника «Миргород». Да и прочих произведений, вроде петербургских повестей или сборника «Арабески». В большинстве случаев, правда, уезжал он к себе в Малороссию, то есть на Украину...

И вот настал черед комедии «Ревизор».

Успех, сопряженный с этим очень значительным в жизни молодого писателя, почти невероятным событием, определился, пожалуй, в самом начале 1836 года. Сразу после того, как пьеса была прочитана автором в кабинете Жуковского, по мнению всех современников, размещенном как-то чересчур уж «высоко»: на четвертом этаже шепелевского (эрмитажного) дома! Чтение слушали князь П. А. Вяземский, граф М. Ю. Виельгорский, барон Е. Ф. Розен, литератор Ф. Ф. Вигель и прочие перворазрядные и не очень уж знаменитые, зато слишком влиятельные, сплошь замечательные знатоки театральных подмостков. Все они издавна слыли друзьями Пушкина или Жуковского.

Сам Александр Сергеевич, несколько припозднившийся, вызывал всеобщее удивление своим заразительным хохотом как раз в надлежащих для смеха местах.

Кабинет Василия Андреевича обставлен был вроде мастерской какого-то просвещенного чересчур художника. Поначалу автор пьесы почувствовал себя как бы не в своей тарелке. Вроде был даже слишком взволнованным. Постороннему глазу могло показаться, что взгляды его везде натыкаются на бюсты и маски, разного рода гравюры. А то и на полотна знакомых хозяину модных светских художников.

А все же он, автор, блестяще справился с чтением пьесы. Всеобщее впечатление получилось настолько выгодным для молодого сочинителя, что рукопись сразу же решили нести на прочтение к его императорскому величеству. Подобного рода комедию, знали, не пропустит даже самый что ни на есть бесшабашно-отчаянный цензор.

Щекотливое мероприятие это осуществил не то граф Вильгорский, не то князь Вяземский. Или оба, совместно. Самодержцу же, словно раввину в старинном еврейском анекдоте, захотелось наглядно продемонстрировать, совместно с какими мошенниками предназначено ему нынче, притом постоянно, сотрудничать. Даже вершить государственные дела...

Разрешение цензора, Евстафия Ольдекопа, выглядело лишь банальной формальностью...

После первого представления Гоголь демонстративно негодовал, рвал и метал, проклиная участь комического писателя, обличителя местных, въевшихся в публику нравов. Однако все это могло быть сродни эйфории девицы Окса-

ны из вроде засыпанной снегом «Ночи перед Рождеством», сочиненной все тем же хитрецом Яновским-Гоголем. Оксана надуманно-искренно поражалась: отчего это люди везде принимают ее за красавицу, когда она таковой – ну никак не является?

В глубине души писатель, очевидно, был очень доволен. Реакция зрителей льстила ему. Он добился успеха, о котором вряд ли мечтал его Петр Иванович Бобчинский, действующее лицо этой пьесы, с утра и до ночи думавший лишь о том, чтобы имя его прозвучало в высочайших царских устах.

Государь дал не только «добро» на представление новой пьесы. Николай I, в сопровождении царственного наследника, будущего Александра II, явился в свежестроенный Александринский театр и принародно одобрил сценическое действо, встряхнув над партером кистями обеих всевластных рук!

Опять же, взирая на своего повелителя, могли ли не поддерживать спектакль высокотитулованные царские сановники, среди которых налицествовали даже первые во всем государстве министры?

Чего еще автору нужно!

Свой новый успех молодой драматург решил отметить еще более длительным путешествием. Всенепременно при том – зарубежным. Можно смело предполагать, что такое намерение вызрело в его голове чуть ли не сразу, после первых

же актов представляемой на сцене комедии.

В письме к московскому знакомцу Михаилу Погодину от 10 мая 1836 года Гоголь заявил откровенно, «что писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы (нет приюта) в отчизне».

Он все еще продолжал изображать из себя довольно крепко обиженного, хотя с готовностью уступил свое детище директору императорских театров А. М. Геденову – за 2500 рублей. Кроме того получил от царя великолепный перстень достоинством в 800 рублей. Дождался также подарков за поднесенный двору печатный экземпляр, изготовленный уже в типографии Адольфа Александровича Плюшара, который свое типографское образование получил далеко за рубежами России.

Что касается собственных планов – в уже цитированном нами письме многозначительно было добавлено: «Пора уже мне творить с бóльшим размышлением».

Если же говорить о конкретизации маршрута предстоящей поездки, то он представлялся следующим образом: «Лето буду на водах, август месяц на Рейне, осень в Швейцарии, уединюсь и займусь (*подразумевалось – одним лишь творчеством*). Если удастся, то зиму думаю пробыть в Риме или Неаполе».

Что ж, ничего удивительного. В столичном обществе повсеместно царила мысль о бодрящем пациентов водолечении, так называемой гидротерапии, основы которой заложил

самобытный германский лекарь Винцент Присниц. Врачи, по словам Александра Пушкина, «хором слали» своих пациентов «к водам». Во всяком случае, великосветскому обществу старались подражать и менее их обеспеченные слои населения.

Но что намеревался писать Гоголь в Швейцарии – пока что нисколько не раскрывалось.

Более четкое обоснование все эти планы на будущее нашли свое отражение в письме Николая Васильевича к матери, отправленном в родовую Васильевку еще через два дня. Мария Ивановна вычитала в послании сына, что он планирует «побывать на водах, потом быть в Швейцарии и Италии и, наконец, возвратиться сухим путем через Москву в Малороссию, пожить несколько времени дома».

Все путешествие, предполагалось, должно занять год-полтора.

В письме, сочиненном еще три дня спустя, к актеру Михаилу Семеновичу Щепкину, с которым автор познакомился также проездом в Москве, быть может, с учетом профессиональных занятий почтенного адресата, цели поездки характеризуются более определенно, хоть и тоже как-то довольно сужено. Автор «Ревизора» будет работать над новой пьесой! «Зимой в Швейцарии буду писать ее, – сообщается там, – а весною причалю с нею прямо в Москву».

Однако же главное в путешествии видится в чем-то ином. В этот же день, 15 мая, он вторично подтверждает в письме

к Погодину, что за рубежом ему хочется «глубоко обдумать свои обязанности авторские, свои будущие творения».

Упорное возвращение к одной и той же мысли указывает, что в голове у творца уже обнародованных «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Миргорода» (называем произведения только на украинскую тематику) зародились сомнения в основательности своих прежних литературных устоев и установок.

Еще как-то слишком настойчиво бросается в глаза, что он ни словом не упоминает об уже начатой им работе над эпопеей (иначе никак не назвать ее) «Мертвые души».

Почему?

И почему в его планах упорно звучат названия «Швейцария», несколько реже – «Италия», а рядом с этими словами ставятся Рим и Неаполь?

Италия – вроде предельно понятно. Гоголь воспел ее в собственном стихотворении, опубликованном еще в марте 1829 года в журнале «Сын отечества и Северный архив». Оканчивалось оно словами:

Земля любви и море чарований!
Блистательный мирской пустыни сад!
Тот сад, где в облаке мечтаний
Еще живут Рафаэль и Торкват!
Узрю ль тебя я, полный ожиданий!

Но Швейцария?

Из Петербурга она виделась крайне тихим, почти таким райским уголком. Сравнительно недавно, в 1832–1833 годах, там долго гостил поэт Василий Андреевич Жуковский. Там доживал свои преклонные годы старик Вольтер. В Швейцарии жили и творили когда-то лорд Байрон, госпожа де Сталь...

Что намерен был делать Гоголь в Швейцарии?
Загадка.

* * *

Пароход «Николай I», который привычно уже увозил петербуржцев в чужие края, отчалил от кронштадтской пристани в начале июня 1836 года.

Для автора «Ревизора» это было второе по счету зарубежное путешествие. Однако ему постоянно чудилось, будто в 1829 году за рубеж отправлялся вовсе не он. Подобное чувство писатель испытывал не только потому, что тогда уплывал еще мало кому известный литератор Гоголь-Яновский, а теперь – звучавший уже на устах у всех петербуржцев драматург Николай Васильевич Гоголь.

После выхода в свет «Ревизора» автору окончательно удалось перейти на эту фамилию, сочиненную вроде из пустяков еще дедом его Афанасием Демьяновичем².

² Фамилия «Гоголь», действительно, была придумана дедом писателя, Афанасием Демьяновичем, вообразившим, что он является прямым потомком полков-

Нет, в 1829 году на корабль взошел никому не ведомый молодой субъект с замашками явного провинциала. Он напечатал поэму, на которую возлагал большие надежды, а вынужден был собственноручно сжечь в нарочно снятом для этой цели гостиничном номере на Вознесенском проспекте. В то время, в 1829 году, не провожал его абсолютно никто. Разве что вывезенный из Васильевки-Яновщины крепостной Яким Нимченко, известный ему чуть ли не с самого раннего детства. Да и теперь... Яким был всего лишь семью годами старше своего совсем еще юного барина. С Якимом приходилось нередко ссориться, и крепостной холоп довольно часто брал в спорах верх над собственным господином. Якиму свято помнились все наказания его госпожи Марии Ивановны, матери Николая Васильевича. В глазах подневольного человека долго не остывала растерянность, вывезенная из родных полтавских краев.

Теперь же...

Он уезжал теперь вместе с приятелем Сашей Данилевским, которого знал еще с семилетнего возраста. Провожать же явился князь Петр Андреевич Вяземский.

Собственно, нельзя утверждать, что князь приплыл в Кронштадт нарочно из-за него. Нет, Вяземский отправлял за рубеж свое поредевшее сильно семейство, состоявшее теперь из жены Веры Федоровны, единственного шестнадцати-

ника Андрия (Остапа) Гоголя, одно время, после сражения под Дрижиполем, носившего даже гетманскую булаву.

летнего сына Павла и четырнадцатилетней дочери Надежды. Старшую дочь Марию, совсем недавно, в мае месяце, выдал он замуж за сверх перспективного в службе государственно-го чиновника Петра Александровича Валуева³.

И все же, поднявшись на пароходную палубу, дав наставления сыну-отроку, распрощавшись с ним, с супругой, с дочерью и с другими своими близкими, князь не просто пожелал счастливого возвращения автору «Ревизора». Он по-братски расцеловал Николая Васильевича и вручил ему довольно приметный пакет, в котором помещались какие-то рекомендательные письма. Сколько их там насчитывалось, для кого они были начертаны, – сказать нельзя. Об их адресатах Гоголь впоследствии не проронил ни одного вразумительного слова. В чем заключался коренной секрет сплошь загадочных этих писем, также остается только догадываться.

Безусловно, можно считать, что какие-то послания предназначались для консульских представителей в зарубежных странах, с которыми Петр Андреевич был долго и лично знаком. Например – для Дмитрия Петровича Северина, с которым сдружился он в период учебы в Иезуитском пансионе в центре Санкт-Петербурга. Теперь Северин, схоронивший недавно свою супругу, служил царским посланником в интригующей нас Швейцарии. Писания князя, кстати, должны были как-то поспособствовать Гоголю в решении многих

³ Будущего министра внутренних дел, а затем и премьер-министра всей Российской империи.

житейских проблем. Остальные же...

Конечно, Гоголя огорчало то обстоятельство, что он не смог попрощаться с любимым поэтом Пушкиным, равно и с любезным ему Жуковским. Правда, Яким впоследствии вспоминал, будто бы Александр Сергеевич, накануне отъезда «пана Мыколы», явился к нему на квартиру. Будто оба они о чем-то там «розмовляли» в продолжение целого вечера. Долго-долго.

Но, во-первых, воспоминания гоголевского слуги, добытые у него московским исследователем творчества Гоголя Владимиром Ивановичем Шенроком, относятся к моменту, весьма уже отдаленному от этого вечера. Во-вторых, сам Яким рванул на такую знакомую и дорогую ему Полтавщину задолго до отъезда «пана Мыколы». В-третьих, вряд ли Александр Сергеевич мог снизойти до посещения жилища, состоявшего всего из двух комнат и расположенного где-то под самым что ни на есть чердаком! В-четвертых, в отношениях двух литературных светил к указанному периоду возникла какая-то странная натянутость.

Многозначаще звучат гоголевские слова в письме к Жуковскому, проставленные уже на германской земле: «Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься». Особенно важной видится завершающая часть оборванной нами фразы: «Впрочем, он в этом виноват».

Звучит это просто немыслимо!

Гоголь упрекает кумира, все речи которого воспринима-

лись им как дорогая сердцу молитва... Стихи которого постоянно вносились в самые заветные тетрадки... Которому во многом подражал при написании поэмы о странствиях своего Ганца Кюхельгартена!

Что за всем этим могло скрываться?

Начнем с Пушкина.

То был непростой период в жизни великого поэта. Он только что возвратился из наследственного сельца Михайловского, где схоронил свою мать, Надежду Осиповну. Топимый неясными предчувствиями, Александр Сергеевич купил себе место на кладбище до боли знакомого ему Святогорского монастыря. В этой тихой обители ощущал он себя как в собственном домашнем уюте. Она вдохновляла его при сочинении исторической драмы «Борис Годунов», сюжет которой вынашивался чуть ли не с раннего детства. Можно сказать – с того незабвенного мига, когда его летом увозили в селенье Захарьино, соседствующее с деревней Вяземское. Там, говорили, распоряжался некогда царь Борис Годунов...

К моменту первого представления «Ревизора» Пушкин считался находящимся в трауре. Ему было вовсе не до театра.

И все же...

Поэт имел все основания считать себя глубоко ущемленным. Его драма «Борис Годунов», прочитанная тем же всеильным императором Николаем I, получила однозначное неодобрение. Об этом свидетельствовал высочайший совет

переделать сие сочинение в прозу, наподобие романов весьма популярного в это время британского сочинителя Вальтера Скотта.

И этот совет предназначался ему, уже признанному мастеру слова, которому Жуковский вручил свой портрет с поздравлением по случаю победы над собственным учителем! Это был рецепт писателю, который давно убедился, что «может творить»...

Уму непостижимо!

А тем временем Гоголь...

Да. Задуматься было над чем...

Возможно, какую-то роль в охлаждении отношений между двумя выдающимися творцами сыграло также сожаление Александра Сергеевича, то ли всерьез, то ли в шутку сроненное с уст его в узком кругу и с догадками, с существенными добавлениями, пущенное гулять по всей столице: Гоголь-де выманил у него сюжет о пустопорожнем, мнимом чиновнике, которого, где-то, в глухой провинции, приняли за столичного ревизора!

Не потому ли сам Пушкин, думалось, вероятно, Гоголю-Яновскому, так демонстративно смеялся при чтении пьесы, что ощущал себя почти что ее соавтором? Не зря, в таком случае, твердили, будто бы сетовал он, что с этим «хохлом», то есть с Гоголем, («Гогольком», как называл его сам Жуковский), следует постоянно держаться настороже. Не то оберет, как липку.

Что ж, собирая подходящие сюжеты, выуживая их в повседневной жизни, в разговорах с приятелями и знакомыми, собирая на страницах газет и журналов, Пушкин, точно, фиксировал все подходящее на клочках бумаги. Клочки копил и хранил в громадной старинной вазе, чтобы потом, утопив в ее горловине руку, выудить всё, что подсунет слепая фортуна...

Конечно, слухи о пушкинской вазе, о сетованиях ее владельца, могли преждевременно достигать ушей начинающего литератора Гоголя-Яновского. А, быть может, так оно и произошло...

Уступая настоятельным просьбам Николая Васильевича, стуча искусно отполированными ногтями на пальцах обеих рук, Пушкин действительно коснулся ими химеричного своего сосуда. Прошуршав в ее узеньком горлышке левой ладонью и вытащив донельзя скомканную, смятую бумажку, он, лишь скользнув по буквам глазами, затолкал лоскуток обратно туда, на прежнее место в своем странноватом сосуде, и тут же вцепился в нечто совершенно другое.

Колебания же поэта Гоголь-Яновский воспринял по-своему. Не в этот ли миг сверкнула в его голове озорная мысль об излишней прижимистости давнего кумира? Она и навела на шальной до одури замысел. Поступок Пушкина стал толчком к зарождению образа скопидома Плюшкина!

То был минутный порыв, от которого писатель впоследствии сотни раз был готов откреститься. Но увиденное проч-

но внедрилось ему уже в голову. Попало в сильно изгвазданную переделками авторскую рукопись, и, в конце концов, — обрело самостоятельное существование...

Конечно, неожиданный кувырок, загогулина в мыслях составляла его большущую тайну. Однако рассуждения автора будущих «Мертвых душ» при всем этом могли оказаться самыми прозаическими: зачем изнывать над придумками, а не подбирать их уже в совершенно готовом виде?

И это также неудивительно. Гоголь, по собственному его признанию, во всем своем творчестве оперировал одними лишь достоверными фактами, черпая их в окружающей действительности. Приятель Пушкина, Павел Воинович Нащокин, совершенно неожиданно, под его пером, дал жизнь бесшабашному наглецу и лгуну Ноздреву⁴ (близкое соседство: щека — ноздря, как и созвучие Пушкин — Плюшкин). Конечно, одно дело Нащокин, иное — глубоко почитаемый всеми Пушкин... Но, поразмыслив, удалось прийти к какому-то вроде консенсусу с крайне податливой совестью: в подобном приеме не содержится чего-то обидного для великого поэта. Так поступают все литераторы. Любая деталь, отмеченная творцами, проставленная на листке бумаги, становится частью их знаменитых литературных творений...

Существовали и другие причины указанного охлаждения. Пушкин был недоволен, если даже не шокирован просто

⁴ Не исключено, заметим, что на подобную мысль Николая Васильевича могло навести уже само отчество этого друга Пушкина — Воинович.

своей журналистской деятельностью. Лелеянный им журнал «Современник» не мог добиться признания даже внутри петербургского литературного сообщества. Издание не скоро сулило возмещение уже потраченных было денег: набиралось всего лишь семь сотен подписчиков...

Знаменательными стали Гоголевы слова, помещенные в письме к Погодину от 1 ноября (по новому, уже европейскому стилю) 1836 года, из-за рубежа, что «дело журнала требует более или менее шарлатанства. Посмотри, какие журналы всегда успевали!». Безусловно, подобными «свойствами» не обладал постоянно заботящийся о собственном, дворянском *renom*⁵ и облике поэт Пушкин.

Конечно, и эти слова, и фамилия автора их едва ли стали известны Александру Сергеевичу. А все ж проницательный ум поэта не мог не отметить и других, аналогичных высказываний Гоголя-Яновского, относящихся к журнальной сфере. Чуткий ко всему, что касалось дворянской чести, Александр Сергеевич всегда реагировал каким-то исключительно оригинальным образом.

Самого же Пушкина, как сочинителя, многие читатели почитали светилом, угасшим на взлете, а то и в зените. Знаменитый впоследствии критик Виссарион Белинский, восходящий пока на орбиту зрелой литературной известности, без обиняков поставил во главе всей русской изящной словесности именно провинциала Гоголя.

⁵ Репутация (фр.).

Вдобавок ко всему нами сказанному, у поэта назревал томительный кризис в отношениях с собственным свояком Дантесом. Это также могло отпечататься на его до предела чуткой натуре...

Как бы там ни было, Пушкин не присутствовал на первом представлении «Ревизора», на которое притопал даже 67-летний Иван Андреевич Крылов. А Гоголь, как он выразился, прекратил работу над «Мертвыми душами», несколько глав из которых, по его словам, были прочитаны Александру Сергеевичу.

Что же, сюжет проклевывавшегося романа, как и пьесы «Ревизор», был также уступлен Николаю Васильевичу поэтом Пушкиным.

Да и с повестью «Тарас Бульба» была связана какая-то подозрительная неопределенность. Собственно, поэт похвалил ее первые главы, назвав их достойными романов Вальтера Скотта... Получалось, в душе у него очень прочно засели увещевания императора, о которых неоднократно рассуждал он с создателем «Ревизора»?

Остальное же...

Уезжая за границу, думая о новых собственных замыслах, за которые примется в Швейцарии, Гоголь, вне всякого сомнения, увозил затаенную мысль улучшить каким-то образом повесть о Тарасе Бульбе, добиться полнейшего одобрения ее из уст поэта Пушкина...

Но чем...

Как улучшить?



Что касается Тараса Бульбы, то на страницах повести предстает он дебелым мужчиной «двадцати пудов весом», в широких, как море, огненно-красных шароварах, со скользким по бритому черепу оселедцем-чубом, со схожими на чубы свисающими усами. Засучив рукава, он готов хоть сейчас испытать уже дерзость и силу собственных сыновей⁶.

Днем рождения Тараса Бульбы можно считать 20 февраля 1835 года. Дата эта четко высвечена в переписке Гоголя-Яновского. Цензурное разрешение на сборник «Миргород», вобравший в себя все указанное произведение, получено было 29 декабря еще предыдущего, 1834 года. А решилось это событие ровно через девять месяцев после того, как писатель, усевшись за рукопись, вымарал в ней налицествовавшее прежнее прозвание основного героя и спешно вывел другое – Бульба. Созвучие слов Тарас⁷и Бульба показалось автору вполне подходящим.

⁶ Этим зачином Гоголь как бы умышленно задает своим читателям «правила игры» в своей повести, объясняя им, что он, как автор, не слишком серьезно относится к конкретным историческим событиям.

⁷ Вполне допустимо, что имя «Тарас» Гоголь мог «позаимствовать» у Шевченко, с которым, по мнению многих исследователей, как раз познакомился в это время. Своим внешним видом будущий Тарас Григорьевич уже чем-то напоминал ему бывалого, матерого казака.

Сборник «Миргород» подготовил сочинитель, уже «швырнувший» в свет сборник рассказов под общей обложкой «Вечера на хуторе близ Диканьки». Первую книгу его восторженно принял даже несколько озадаченный Пушкин, сочинитель поэмы «Полтава», действие которой вскипает в тех же малороссийских краях, на взгорьях которых шепчутся темные тополя, а под ними, под черными стрехами, улыбаются белостенные избы. Прозрачным видится в Малороссии даже чистое звездное небо.

Замысел поэмы, ее исполнение, по словам Пушкина, одобрил всё понимающий польский поэт Адам Мицкевич... Непревзойденный песнопевец... Неповторимый, к тому же, импровизатор...

Правда, к этому времени Пушкин сам ощущал актуальность неизбежного перехода на «умную» прозу. Склонялся к мысли, что поэзия выглядит все-таки несколько «глуповатой»...

Кажется, Тарас Бульба обладает способностью понимать исключительно все, что только лишь существует на свете. Ему впору порассуждать об античных римлянах, вроде оратора Цицерона и поэта Горация, к наследию которых, как и его сыновья, приобщался он, вероятно, также в мудрой Киевской академии. Конечно, в последнее время начал он путать Горация с Гораськом (Гераськом, Герасимом)...

И все же знакомство с мировой культурой не возымело на Бульбу решающего воздействия. В этом легко убедиться при

более внимательном чтении текста всей повести.

Через несколько мгновений, после схватки на кулаках со старшим сыном, Тарас уже восседает в своей невысокой, хоть и довольно просторной светлице. Необъятный стол перед ним прогибается от обилия яств и напитков. Главенствует надо всем горилка...

Старый казак вполне удовлетворился параметрами сыновних кулаков. Он доволен судьбою, окружающими его людьми, которые хоть и представлены за столом только личностью подопечного ему есаула Товкача с двумя полковыми старшинами, но как-то вяло себя проявляют. Тарас понимает, до чего быстротечна всякая молодость. Как ненадежны любые телесные силы. Надо скорей насладиться собственной удаley. Приобщаться к большому делу.

Надо воевать!

Буйный оселедец Тараса Бульбы слегка лишь примят черной шапкой с огненно красным верхом. Обшитая шелком рубаха, за исключением, быть может, полосы воротника, исчезла под кармазиновым жупаном, перехваченным еще более ярким узорчатым поясом. На нем красуется острая сабля. За пояс же сунуты чеканные пистолеты. Привязано к нему и огниво, и тоненькая веревка: – чтобы тотчас же «пеленать» неприятелей, в надежде на получение еще более щедрого выкупа. Вдобавок, под усами Тараса, попыхивая дымком, приплясывает трубка-люлька. За спиной у него – «самопал-рушница» и дыбится к высокому небу длинню-

щее чересчур копые. Чудится, оно просто царапает синеющие небеса...

С присущей ему нерастраченной удалей взлетает Тарас на коня под прозвищем Черт. Чтобы тотчас отправиться... в бессмертие.

* * *

Образ Тараса Бульбы в сознании маленького Никоши Яновского начал вырисовываться чуть ли не сразу же после появления на свет самого своего сочинителя.

Рано стали убаюкивать песни, которые зарождались в разных концах родовой Васильевки-Яновщины. Но чаще всего – на открытых пригорках возле мелко и часто трясущихся ветряков. А еще – на просторном выгоне. Звуки бубна и нескольких громких сопелок неудержимо просачивались сквозь самые звонкие человеческие голоса. Они перемешивались с резким постукиванием над ближним от дома колодцем, что при громоздком гнезде, для всех изнемогших в полетах, мерно кружащих аистов.

Засыпал, как обычно, под монотонный, какой-то загробный голос старушки Гапы, своей, вместе с братцем Ивасиком, исключительно бдительной, страшно заботливой, непрерывно стареющей дряхлой няньки... Собственно, в этом и заключался ее изъясн... Под этот же голос просыпался он каждое утро. Одновременно с ним оживлялись его от-

дохнувшие за ночь желания: хоть бы разок еще прокатиться куда-то в поля... Обоих мальчишек брал с собою в поездки отец.

Поражали также сельские ярмарки. Нравились красочные толпы на церковных праздниках. Но особенно привлекали изображения человеческих фигур. Они наличествовали не только при церковной паперти в самой Яновщине. Торчали при входе в прочие сельские церкви, переполненные нищенским людом. Бросались в глаза на просторных корчемных подворьях, где постоянно томятся воловы упряжки. Водились на постоянных дворах, куда время от времени заворачивала отцовская бричка. Встречались также в домах у соседей-помещиков...

На приличных размеров плоскостях восседал один и тот же мужик с округлым, как тыква, лицом, украшенным щетками длинных волос. Дополнением к его волосатости служили такой же длины усы под крепким квадратным носом. Глаза изображенных людей нацелены были в сторону чарки с горилкой, непременно торчащей у них перед глазами. Верхнюю часть всего тела, вплоть до красного пояса, прикрывала вышитая ярким цветом рубаха. Руки, внутри удлиненных, покрытых узорами рукавов, были заняты струнами легковесной бандуры. Ноги, подвернутые под жилистое туловище, покоились в пространственных шароварах. Шаровары казались настолько широкими, что едва обнажали присутствие красных сапог. К поясу с алым отливом прицеплена

была длиннющая сабля. При чарке бугрилась баранья шапка с красным же верхом...

Чтобы окончательно показать, каким преимуществом располагают таинственные эти фигуры, на заднем плане каждой картины, за дюжими спинами, красовался оседланный конь, не упускавший попутной возможности полакомиться щедрой изумрудной травой...

При первой же встрече с этим загадочным изображением, сутулясь под чужим неотрывным взглядом, Никоша Яновский не выразил вслух ни малейшего интереса. Отец на ту пору барахтался в разговорах с людьми, обступавшими его двойным, исключительно плотным кольцом. Когда же Никоша, уже перед третьим или четвертым подобного рода изображением, обратился с вопросом, кто это там так нещадно буравит взглядом его и брата Ивасика, Василий Афанасьевич с готовностью отозвался:

– Казак Мамай! Он здесь везде...

Василий Афанасьевич очертил рукой круг, как бы желая слить в одно целое все окружающие изображения, и застыл в ожидании дальнейших расспросов. Однако ничего подобного никак не последовало. Слово «казак» выступало для маленьких барчуков отнюдь не новым. Казацкие подворья были густо посеяны вокруг Васильевки-Яновщины и других господских усадеб. О местонахождении их говорили высокие тополя на возвышенных крепко местах, видневшихся на расстоянии многих верст. Под защитой тополей кудряви-

лись щедро разросшиеся сады, из гущи которых высовывались частые крыши, усыпанные ослепительным солнечным светом. Торчали гонкие журавли с развешанными на них тележными колесами.

Казаки же, как правило, ездили на возах, запряженных изрядно раскормленными лошадьми. Возы их, славясь своей добротной исправностью, никогда не скрипели. Казацкая одежда всегда поражала своей безупречной пригодностью.

Самих казаков, уж точно, полагалось принимать за людей особой породы. Выглядели они стройнее, ростом казались повыше всех прочих человеческих особей, отличались обритыми, кроме усов, веселыми лицами. Все казаки обожали скакать верхом, напевая при этом песни. Только и слышалось:

Їхав, їхав козак містом,
Під копитом камінь тріснув...

Увидев затруднения сына, Василий Афанасьевич еще раз дополнил все уже сказанное:

– Запорожский казак... Теперь их... не существует... Почти нет... совсем...

Но и после этого Никоша не стал ни о чем расспрашивать. Ему выпадала возможность задуматься, что означает выражение «казак-запорожец».

Получается, он живет за порогом...

За каким именно?

Никоша так основательно погрузился в этот вопрос, что не отделился от него до того момента, когда нянька уложила братца в кроватку в чересчур удаленной от входа комнате, из которой предварительно попыталась изгнать рушниками всех мух. Насекомые затихли лишь после того, как была задута ярко вспыхнувшая свечка. Пустующее пространство мигом заполнилось черной тьмою. Ивасик тотчас же засопел в подушку. А Никоше вдруг примерещилось, будто казак Мамай, отделившись от красочной поверхности, переместился из корчмы сюда и грохнулся рядом на мягкость его постели. Казацкая голова, с пучком торчащих волос, даже примяла Никоше щеку.

– Цур тебе, пек тебе!⁸ – отодвинулся мальчик, не ощущая в себе ни малейшей боязни. – Твое место... за нашим порогом! Уходи! Да немедленно!

Удивительно: постороннего удалось обнаружить далеко не сразу. Никоша тоже приготовился было уснуть, но запорожский казак возник перед ним повторно. Видение оказалось настолько зримым, что Никоше пришлось окликнуть старуху няньку.

– Что с тобой, серденько? – пропела она, всплывая в комнату вслед за свечою.

– Он там, за порогом...

– Кто? – так и ахнула.

⁸ Заклинание против нечистой силы (укр.).

– Казак! Запорожец!

Нянька принялась гладить Никоше рыжую головенку, пребывая, однако, в полной уверенности, что это нисколько не повредит уже прерванной было молитве.

– Спи, мое серденько, спи... Никого там нету...

Однако видение казака не освободило пространство комнаты даже после ее заверений. Было явственно слышно, как пришелец уселся на корточки, дожидаясь, наверное, когда уберется прочь сама старушка-нянька.

– За порогом, бабушка! За порогом!

Нянька не задавала больше вопросов. Однако и не отпускала его мигом взопревших ручонок...

Очевидно, ночное происшествие не ускользнуло от внимания отца, Василия Афанасьевича. Призвав утром сына в свой крохотный кабинетик, он сразу же усадил его к себе на колени.

– Запорожские казаки, Никоша, – начал весомо отец, – жили за днепровскими порогами... Защищали нас от татар и турок. Не было силы, способной устоять перед ними. Если и удавалось кому-либо схватить запорожца, даже связать его самыми крепкими веревками, то пользы в том не было ни малейшей. Стоило запорожцу освободить один хоть палец, изобразить при помощи слюны лодку – и он уже весь на воле! Многие запорожцы прослыли подлинными волшебниками. Знали страшные заклинания...

– Так они – чародеи?

– Всё могли...

– И где они... сейчас?

Василий Афанасьевич отвечал со вздохом:

– Царица Екатерина велела либо войти в ее войско, либо стать хлебоборами...

– Стали хлебоборами?

– Далеко не все. Многие распевают на шляхах-дорогах. Сделались... бандуристами.

– А где живут?

Василий Афанасьевич неопределенно махнул рукою:

– Где уж придется...

И все же Никоша увидел живого запорожского казака. Уже после смерти брата Ивасика, почившего от мало кому и понятной болезни...

Запорожца привезли бродячие лицедеи. Явились с собственной скрыней на скрипучем возу, запряженном рябыми кобылами. Остановились на зеленой лужайке при каменной волонне. Туда, как один, сбежались все дворовые люди. Оставив свои неотложные занятия, пришел и Василий Афанасьевич. Явившихся лицедеев, оказалось, он знает даже по именам. По именам окликали их также дворовые.

– С Богом! – повелел Василий Афанасьевич, опускаясь на поднесенный лакеем стул. – Начинайте...

Что это было за зрелище! Меж деревянными приспособлениями, скрытыми в скрыне, о существовании которых зри-

тели тут же успели забыть, возник непонятный доселе мир. Всё, что было рассыпано в сотнях, в тысячах молодых, снующих на барском подворье, бредущих вдоль пыльных шляхов, работавших в поле, – всё было собрано здесь, в одном-единственном существе! Собственно, то было крохотное изваяние, почти как кукла. Однако оно оказалось настолько ярким, глазастым, неудержимо ворчливым человеческим естеством, что ни у кого среди зрителей не возникало даже малейшего подозрения, будто перед ними не сама настоящая молодница, по имени Явдоха. Подобие сельчанки было способно на такие разные выкрутасы в танцах и на такие бесподобные «жарты», которых не выдумать больше никому из присутствующих!

А какими живыми, настоящими выступали в деревянной рамке все ее собеседники! В первую очередь – недотепа-муж, мечтающий лишь о том, как бы наполнить себя оковитой⁹, утаив всевозможную выручку от собственных нехитрых занятий.

А какой красиво-стыдливой выступала Явдохина дочь Парася! В веночке из полевых цветов, в белоснежной сорочке, красной корсетке, «картатой»¹⁰ юбке и маленьких ярких сапожках! Как задумчиво пропела она свои нежные песни...

Диву давался Никоша, сидя рядом с отцом и с восхищенным без края лакеем Якимом. Обычно неповоротливый и ле-

⁹ Горилка. От латинских слов aqua vitae – «вода жизни».

¹⁰ Покрытой узорами в виде рельефных квадратов.

нивый, Яким превратился вдруг в непоседливого кота. Откуда всё это, искренно восхищался он, могло появиться в обыкновенном панском подворье, перечеркнутом желтыми тугими тропинками, бегущими во всех направлениях?

Однако всё это было...

Было!

И всё же сильнее всего поразил запорожец, настоящий казак Мамай. Появление его предрекля довольно простенькая мелодия, которую выдобыл из своей нескладной скрипчонки маленький человечек со сморщенным личиком и густыми щетинистыми усами. Он срывался с места, умиряя смычок своего нехитрого инструмента, как если бы весь пребывал в опасении, что смычок унесет его прочь отсюда.

Появление казака Мамайя уловили хвастливый польский вояка в ловкой шапчонке с длинными перьями и порывистый узкоглазый татарин в мохнатом кожухе. А также медлительный турок в изумрудно-зеленой чалме. Угадав приближение запорожца, все трое сочли за благо как можно скорее исчезнуть.

Казак ворвался неудержимо и яростно, танцуя настолько быстро, что поначалу было не различить, где обрываются носки его юрких сапог, а где начинается оселедец. Все превратилось в одно сплошное мелькание.

Ой, гоп, метелиця,
Чого старий не жениться!

Казаку не потребовалось никакого отдохновения от танца. Он тут же, едва остановив собственное коловращение, начал произносить такие вычурные мудрствования, что среди зрителей стало твориться что-то воистину невообразимое. Первым свалился от хохота юный на ту пору лакей Яким. За ним – счастливики, которые собрались у волшебного сквозного отверстия.

Трудно было, впрочем, определить, насколько все они оказались счастливыми. Стоило казаку заговорить – и в деревянной рамке-отверстии обрисовалась круглая его голова, черный оселедец и вся вышитая красным цветом рубаха...

Да, это был казак Мамай! Его речи Никоша впитывал до последнего придыхания, стараясь наперед разгадать всю казачью тайну...

* * *

Позволительно предположить, что вскоре после прибытия в Санкт-Петербург у Гоголя-Яновского появилось немало мотивов приступить к написанию какого-то нарочитого произведения о запорожских казаках.

Первое побуждение к этому могло быть связано с должностью учителя в так называемом Патриотическом институте. Это заведение, здание которого доныне высится в 10-й

линии Васильевского острова, основано было совсем недавно, в 1827 году. Оно предназначалось для воспитания и обучения девочек чисто дворянского происхождения, чьи отцы или родственники оказались причастными к непосредственной армейской службе. Преподавателем, даже инспектором в названном заведении, подвизался Петр Александрович Плетнев. Познакомившись с Гоголем-Яновским, Плетнев всячески стал ему покровительствовать. Что касается чисто литературных опытов молодого провинциала, Плетнев не только представил юношу явившемуся из Москвы поэту Пушкину, но и подсказал своевременно, что сборник «Вечеров на хуторе близ Диканьки» лучше всего связать с именем какого-нибудь деревенского балагура. Собеседники сошлись на мнении, что им стопроцентно может выступить старик-пчеловод, род занятий которого позволяет вести беседы среди неугомонных пчелиных ульев, в тени кудрявых яблонь, в окружении зелени и под пение беззаботных птиц. Происходит же этот пчеловод с Украины, из тех как раз мест, которые связаны с голосистой Диканькой, с Полтавой, воспетой недавно самим Пушкиным.

А еще старик обладает многозначимым прозвищем – пасичник Рудой Панько! Этому имени суждено было красоваться на обложке всего издания. Придуманый автором псевдоним таил в себе очень многое. Панько, как известно, распространенная в Украине форма имени Афанасий, Опанас. Награждая им своего героя-рассказчика, настоящий

автор сборника, без сомнения, думал о собственном деде, Афанасии Демьяновиче. Кстати, также большом любителе пчел. Внук увековечил деда не только по имени, но и по цвету его прически. Рудой, в украинском языке, означает «рыжий». Этот цвет волос считался наследственным у всех Яновских-Гоголей. Точнее – просто Яновских.

Не в меньшей степени заботили Плетнева и бытовые стороны жизни своего протеже. Он и рекомендовал молодого знакомого в учителя «патриоток». К мнению инспектора не могли не прислушаться. Императрица, шефствующая над василеостровскими воспитанницами, наложила потребную резолюцию. 9 марта 1831 года Гоголь-Яновский уволился из Департамента уделов, где служил под общей ферулой министра внутренних дел Арсения Андреевича Закревского. На следующий день он был поспешно зачислен в Патриотический институт младшим учителем истории с чином уже титулярного советника (IX класс по табели о рангах, равный армейскому капитану или кавалерийскому ротмистру).

Конечно, новоиспеченный педагог был вполне доволен. В Яновщину-Васильевку тотчас же полетело письмо, в котором говорилось, что сама государыня «приказала» ему «читать лекции». Каково? А еще в письме сообщалось, что к нему должны «отойти» Екатерининский институт и два каких-то других учебных заведения.

Правда, ничего подобного с Екатерининским институтом и другими учебными заведениями отнюдь не случилось. За-

то последовали частные уроки в великосветских домах Балабиных, Лонгиновых, князей Васильчиковых. О своих занятиях в этих богатых домах, правда, Яновский-Гоголь не стал распространяться в письмах. Впоследствии вообще утверждал, будто ничего подобного совершенно не помнит.

Однако главное заключалось не в этом, в ином: Никоша Яновский почувствовал силу собственных слов. Ощутил в себе дар заинтересовывать учениц, которые, пожалуй, взаправду сидели перед ним с широко раскрытыми ртами, что чрезвычайно усилилось после выхода в свет «Вечеров на хуторе близ Диканьки», всемерно расхваленных Пушкиным и Жуковским¹¹.

Это придавало провинциалу неведомых сил. Рождало надежды, что устными рассказами можно заинтересовывать и взрослых людей, даже студентов, а не только девчонок, получающих какое-то странное воспитание.

В столичных гостиных всю потешались, будто содержат их в исключительно строгих рамках. Будто при встрече с существами мужского пола эти василеостровские воспитанницы закрывают лицо руками. Будто им не дозволено произносить слово «бык». Вместо этого положено говорить «говядина»...

Читатель, наверняка, заметил, что для молодого Гого-

¹¹ Для этого, полагаем, стоило лишь придумать ему побасенку о смешливом на борщике, который умирал от веселого настроения, читая на самом деле сплошь озорные «Вечера на хуторе близ Диканьки». Для Николая Васильевича, при его брызжущей весельем фантазии, такая придумка – была в порядке вещей.

ля-Яновского воочию стала вырисовываться та же ситуация, которая некогда возникала в жизни родного деда его, Афанасия Демьяновича, также одно время вступавшего на соблазнительное учительское поприще. Более того, дед писателя даже выкрал у своего невольного тестя его любимую дочь Татьяну, ставшую впоследствии прообразом Пульхерии Ивановны в повести «Старосветские помещики».

Но нет, ничего такого в этот раз не случилось. Не затесалась пока что в толпу учениц невеста Николая Васильевича. Хотя, забегая далеко вперед и выходя уже за пределы данной книги, отметим, что значительно позже она действительно появилась. Причем также входила в число его слушательниц. Звали ее Анолиной, Анной, Нози́. И была она дочерью графа Михаила Юрьевича Виельгорского, опять же, как и в дедовском случае, выходца из старинного польского рода. Писатель Гоголь, вроде бы, возымеет к тому времени твердое намерение непременно жениться. По свидетельствам современников, он сделает даже предложение, но получит отказ от так и не состоявшейся его великосветской тещи¹². В предполагаемой партии графиня усмотрит недопустимый для графской семьи *mésalliance*¹³...

Однако пока что, в 1831 году, Анолине Михайловне исполнялось всего только девять лет.

¹² Не отсюда ль возникло у Николая Васильевича предположение, что польские девушки обладают какой-то необыкновенной, умопомрачительной красотой?

¹³ Неравный брак (франц.).

Зато четко вырисовывалось уже нечто иное, не менее значимое. Надо сказать, что автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки», возможно, настолько убедил себя в собственных педагогических способностях, что и сам в них уверовал. Через год, оказавшись в Москве, проездом в Малороссию, сумел так внушительно изложить свое понимание истории и методику ее преподавания, что москвич Погодин, – писатель, историк, ученый, – развесил уши и попросил петербуржца Плетнева, в отсутствие Николая Васильевича, прислать ему тетрадки первых попавшихся василеостровских затворниц.

Плетнев, конечно, прекрасно понимал, как в действительности обстоят в институте дела. Он убеждал Погодина, что среди институтских наставников Гоголь-Яновский выделяется только силой воображения. По большей части заботят его детали в рассказах, а вовсе не системы взглядов, не связная картина мира, не изложение каких бы то ни было научных доктрин.

Погодин не унимался никак. С просьбами о конспектах обратился он уже к самому Яновскому-Гоголю, возвратившемуся в Петербург после четырехмесячного там отсутствия, весьма удивившего педанта Плетнева, привыкшего к беспрекословному исполнению своих служебных обязанностей.

С присущей ему изворотливостью Гоголь отвечал Погодину, что ученицы его портят конспекты своими прибавления-

ми из сомнительных источников. Лучше он сам познакомит своего московского приятеля с собственной методикой, издав соответствующую книгу под заглавием «Земля и люди».

Нетрудно догадаться, что если в затребованных конспектах и содержались какие-то прибавки, то ученицы слышали их от самого же лектора. А все это использовалось им в качестве «оживляжа», почерпнутого из действительно легковесных бульварных изданий, к которым обучаемые девочки не имели решительно никакого доступа.

Государственная служба все настойчивей подталкивала молодого провинциала как можно скорее освободиться от нежелательной приставки к его фамилии, над которой он уже начал было одерживать внушительную победу. Решительное наступление на слово «Яновский» было предпринято осенью 1830 года, когда события в Польше, в частности в Варшаве, обрели уже просто угрожающий характер...

Первого сентября того года он в последний раз подписался содружеством слов Яновский и Гоголь. В том же письме к своей матери была сделана приписка и для его родной сестры Маши, после которой, (приписки), осталась обрубленная подпись «Г Яновский». Очевидно, автору очень хотелось выстроить эти слова в каком-то чуть ли не обратном порядке, но, обмишурившись, он не стал вымарывать уже начертанное. Зато в письме, адресованном только матери и датированном 29-м числом того же месяца, после слова «Гоголь»

черкнул лишь привычную букву «Я», а в дальнейшем подписывался исключительно словом «Гоголь». Отныне он всячески настаивал на том, что именно таким образом должна выглядеть его фамилия на всей направляемой ему лично корреспонденции.

Это желание, скажем, заметно по адресу, который писатель указывает в 1831 году, намереваясь провести лето в доме князей Васильчиковых, куда, по протекции Плетнева, определился он в качестве домашнего учителя. «Его высокоблагородию Александру Сергеевичу Пушкину. А вас прошу отдать Н. В. Гоголю» – вот что полагалось проставлять на конвертах, направляемых ему в селение Павловск.

Все продвигалось, пожалуй, вроде великолепно. Да вот осенью 1831 года Мария Ивановна допускает некоторую оплошность. Позабыв о сыновнем требовании, мать прибавляет привычную для нее приставку «Яновский». И это – на пике польских событий, когда главнокомандующий царскими войсками генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич, также уроженец Украины, добился решительного перелома в чересчур затянувшемся военном противостоянии!

Матери, конечно, было странно осознавать, что фамилия ее сына, на звучание которой откликался он в продолжение всей лицейской учебы, вдруг превратилась в неприятную для него приставку! Но это было именно так. Никоше не терпелось получить подтверждение, что давно отосланный им петербургский мешочек с подарками в девяносто рублей,

уже распотрошен в родовой Васильевке-Яновщине. По всей вероятности, получив подтверждение, но, увидев фамилию «Гоголь-Яновский», рассердился он не на шутку. Ах, так! Помедлив, в январе 1832 года, отправляет матери письмо, в котором причиной якобы запоздалого подтверждения выставляется то, что души не чаявшая матушка употребила эту приставку «Яновский»! Чтобы подобного впредь никогда не могло повториться, категорически требует адресовать корреспонденцию ему исключительно как Гоголю, поскольку «кончик» его фамилии, то есть слово «Яновский», неизвестно «где делся». Быть может, «кто-нибудь поднял его на большой дороге и носит, как свою собственность», – следует попытка свести подобное мнение к незатейливой шутке. А дальше в письме стояло: он «нигде не известен здесь (в Петербурге) под именем Яновского». Оттого-то и почтальоны допускают столь досадные промахи!

Подобные претензии высказывались в это время также к другим знакомым, даже к детям, которых он наставлял. Скажем, в доме Лонгиновых, когда эти несмышленыши-малыши обращались к нему как к Гоголю-Яновскому, а то и – ужас! – просто как «к господину Яновскому»!

«Что вы! Что вы! – одергивал их. – Я просто – Гоголь. А Яновский... Это поляки зачем-то придумали!»

Конечно, на деле все было совершенно не так. В Петербурге, в силу прежних личных стараний, знали его как Гоголя-Яновского. Именно под такой фамилией рекомендовал

новичка в письме к Пушкину Петр Александрович Плетнев, о чем сам начинающий автор, естественно, нисколько не ведал.

Справедливости ради надо заметить, что в ответном письме Плетневу, знавший его всемерную природную доброту поэт осторожно откликнулся на восторги по адресу юного автора. Пушкин в ответ написал, что произведений Гоголя (!) он пока не читал из-за свадебного недосуга. В том же ответе, относящемся к апрелю 1831 года, Пушкин, которому, конечно, не был известен вес польской половинки в фамилии автора, тем не менее, не желает ее употреблять. Еще бы! Это был пик тревожной польской кампании. Как раз в это самое время, через жандармского генерала Бенкендорфа, Пушкин ратует о переводе «на Вислу» своего младшего брата Льва Сергеевича.

Под этой же фамилией, то есть Яновский, скорее – Гоголь-Яновский, писатель был рекомендован поэту Пушкину при личном знакомстве уже непосредственно в доме Плетнева. Именно эту фамилию зафиксировал в своем дневнике цензор А. В. Никитенко (1832) после встречи с автором «Вечеров...». Как Гоголя-Яновского знали его Михаил Погодин, Орест Сомов и многие другие московские и петербургские литераторы. А Евгений Баратынский – даже просто как господина Яновского.

Впрочем, всё это – новые петербургские знакомцы. А что говорить о давних, хотя бы нежинских приятелях...

Как Гоголь-Яновский фигурирует писатель в официальных бумагах вплоть до 1836 года, до представления на сцене его комедии «Ревизор», несмотря на то, что сборники «Миргород» и «Арабески» (тоже 1835 год) выходят уже под фамилией Н. Гоголь. Впрочем, написание это вполне могло восприниматься как псевдоним. Особенно – посторонними. И только в предписании Конторе императорских театров появляется, наконец, «господин Гоголь»!

Это была вполне весомая победа. Но комедией «Ревизор» завершается весь петербургский период жизни Николая Васильевича. Окончательным триумфатором над своей родовой фамилией, ставшей таким ненавистным привеском, драматург ощутил себя лишь на палубе парохода «Николай I», увозящего его за границу. Свою прежнюю фамилию, можно смело сказать, писатель Гоголь утопил лишь в балтийских глубинах...

* * *

Поездка на родину в 1832 году, ко всему прочему, ознаменовалась исключительно важным знакомством с Михаилом Александровичем Максимовичем. Это произошло в Москве, где Максимович служил преподавателем тамошнего университета.

Надо тотчас заметить, что он, питомец Новгород-Северской гимназии, став московским профессором, не забывал

о своей приднепровской родине. Интерес молодого ученого к народному творчеству вылился в изданном им собрании украинских народных песен (1827), заинтересовавшем многих людей, в том числе и Гоголя-Яновского, не признававшего украинского языка самодостаточным явлением.

Поговорив о песнях, собеседники вдруг почувствовали такое взаимное притяжение, такое родство вдохновенных душ, что уже никак не могли так просто расстаться. Более того, разговоры коснулись университета в Киеве. Это сблизило их окончательно.

Основание подобного заведения на берегах Днепра стало насущной проблемой сразу же после усмирения строптивых поляков. Николай I распорядился закрыть все учебные заведения на территории Царства Польского, эти-де рассадники чересчур опасного вольнодумства. Помимо варшавских высших школ, подобной же участи подвергся также Виленский университет, где в свое время обучался Адам Мицкевич, очутившийся теперь за границей, как бы в бессрочном изгнании.

Закрытым оказался также знаменитый Кременецкий лицей на западных украинских землях, созданный страстным поборником народного просвещения Тадеушем Чацким при всемерной поддержке его польских друзей.

Царство Польское, в отместку за восстание и детронизацию императора, лишалось дарованного Александром I сейма, а также своей конституции, собственного войска и про-

чего, прочего. Входившие в него земли подвергались нещадной русификации. Польская молодежь устремлялась кто за рубеж, главным образом в Париж, в Сорбонну, а кто и в высшие учебные заведения ставшего отныне своим российского Санкт-Петербурга.

Основание университета в Киеве преследовало довольно благородную цель – создание научно-образовательного центра на славянских землях в противовес закрытым и упраздненным польско-литовским. Правительство намеревалось крепко держать это дело в своих руках. Кадры для нового учебного заведения подбирал попечитель Киевского учебного округа Егор Федорович Бадке, сам непосредственный и довольно активный участник подавления польского вооруженного восстания.

1833 год прошел для Гоголя-Яновского под знаком явного творческого кризиса, по крайней мере – заметного спада его созидательных способностей. Принимаясь за многое, он мало что доводил до результативного конца. Забрел был на замысел книги по всеобщей истории и географии, навеянный успехами учениц в Патриотическом институте, – да она никак у него не «вытанцовывалась». Погодин напрасно дожидался ее взамен конспективных записей василеостровских «патриотов». Зароились в мыслях персонажи петербургских повестей – не воплотил пока что и этого. Появились замыслы романов из казацкой истории, даже отдельные

главы их были опубликованы в солидных столичных журналах, но дальше опять ничего не пошло. Комедия «Владимир третьей степени», продуманная до последних мелочных деталей в одежде, сменилась вдруг опасением, что произведение это никак не будет пропущено цензурой, – отказался от ее продолжения. Еще одна комедия, «Женихи», при неудаче с первой, тоже продвигалась вперед ни шатко, ни валко. Рисовались отчетливо лишь отдельные акты.

И тут в голове у автора «Вечеров» возникает мысль, что виною спада, наверняка же, следует считать петербургскую погоду. То ли дело в Малороссии... О родной стороне напоминали песни, которые и сблизили его с Максимовичем.

Зато университет на Днепре с каждым днем становился все большей и большей реальностью. Попечитель Брамке, подбирая нужные кадры, не преминул наведаться и на берега Невы. Первым делом он посетил здесь кабинет министра народного просвещения Сергея Уварова. Вакансии в Киеве замещались частично профессорами Кременецкого лицея, многие – специалистами из Харьковского университета, а также из высших школ остальной университетской России. Избрание профессора словесности в Киеве определенно клонилось в пользу гоголевского знакомого Михаила Максимовича. Пока что он прочно сидел на кафедре ботаники в Москве, однако успел заявить о себе и на ниве языкознания. Гоголь-Яновский, со своей стороны, при поддержке официальных лиц, как мог, уговаривал приятеля в письмах.

Конечно, того манили родные места, однако смущала резкая перемена научного амплуа: была ботаника, и вдруг, да так неожиданно, — словесность.

Более того, у самого Гоголя-Яновского как-то неожиданно выиграла фантазия. Он увидел себя обладателем домика в Киеве, с крыльца которого открывался блеск сверкающего водной гладью седого Днепра. А писательство... Что писательство! Оно никак не прокормит. Он все больше и больше доверялся словам покойного отца, чувствуя себя уже твердо сидящим на университетской кафедре, скажем, по всеобщей истории. В паре с Максимовичем можно будет скопить массу народных преданий, песен, в которых, как в капле воды, отражается прошлое родного края и его удивительного народа!..

* * *

Кстати, с летом 1833 года связано было не совсем и понятное, а все же очень памятное событие...

Шаги у Пушкина, как начал уже примечать Николай Васильевич, были всегда удивительно тихими. Будто он постоянно ходил босиком и непременно по мягкой, шелковистой, слегка лишь упругой зеленой траве...

Пушкин, по мнению Гоголь-Яновского, растерял былую привычку бесконечно долго валяться утром в жаркой пуховой постели. По мере того, как одеяло сильнее и сильнее со-

гревало его вечно зябнувшие, жаждущие плотного тепла ноги – «африканские» – смеялся! – тем удачнее работала у него возбужденная голова.

А он, Николай Васильевич, неоднократно заставлял поэта лежащим еще в постели. Листы бумаги, в такие часы, освященные вдохновением и исписанные летучими буквами, ничуть не измятые, просто стекали с высокой постели на давно уж остывший пол. Случалось, они даже пачкали белизну простыней, так и не успевшими просохнуть своими чернилами. В конечном же результате пол превращался в некое подобие укрытой первым снегом плодоносной земли...

Так вот, в июле этого года к Пушкину неожиданно заглянул возвращавшийся из Парижа приятель-москвич – Сергей Александрович Соболевский, с которым поэт сдружился благодаря своему младшему брату Льву: молодые люди оба обучались в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте в самом Петербурге.

Соболевский также застал поэта за писанием стихов.

Едва переступив порог пушкинской дачи на берегу Черной речки, где как раз присутствовал и Николай Васильевич, Соболевский тотчас воскликнул:

– Ба, как бы мне не запомнить! Привез я тебе, Александр Сергеевич, подарок от Адама Мицкевича! Четыре тома его произведений, отпечатанных недавно в Париже...

Не говоря ни слова, Пушкин тут же снял с полки уже привезенный кем-то прежде трехтомник.

– Как? У тебя уже есть... это парижское издание? Знал бы – не вез все четыре...

Ничего иного не оставалось прибывшему Соболевскому, как на титульном листе только что доставленной, четвертой, книги сделать дарственную надпись: «А. С. Пушкину за прилежание, успехи и благонравие. С. Соболевский».

А Пушкин, между тем, уже жадно впивался глазами в доставленный приятелем четвертый том. Когда глаза его добрались до середины страницы, щеки поэта покрылись вдруг выразительной бледностью. Показалось, он даже проскрежетал зубами...

Николаю Васильевичу оставалось только сильней еще удивиться отчаянной смелости самого Сергея Александровича: тот нисколько не побоялся явиться в Санкт-Петербург с недавно отпущенной окладистой бородою. Значит, снова придется прятаться в подворотнях при встрече с нынешним государем императором!

Ни с того, ни с сего Николай Васильевич вдруг заметил: – Да, что касается поляка Мицкевича... Я вдруг вспомнил... Оказывается, мы какое-то время жили в одном и том же с ним доме... В доме каретника Иохима! Вот так да...

– Возможно, возможно, – кивал головою Пушкин, не отрываясь от чтения стихотворного текста.

Еще больше бы удивился Николай Васильевич, если б узнал, что в тот же день обожаемый им кумир направил в III отделение письмо, адресованное лично А. Х. Бенкендорфу.

В письме содержалась просьба отпустить его, Пушкина, сначала в Дерпт, чтобы навестить там вдову историка Карамзина, Екатерину Андреевну, а затем – на целых четыре месяца в деревню Болдино для присмотра за своим наследственным имением.

Однако не это выставлялось самой главной причиной. Пушкин был занят написанием книги о пугачевском бунте. Поэтому, в письме заместителю Бенкендорфа А. Н. Мордвинову от 30 июля, он вынужден был дополнить написанное: «В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду... Может, государю угодно знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне? Это роман, коего большая часть действия происходят в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии». Потому и намеревался он навеститься вначале в Казань, затем – отправиться вглубь оренбургских степей. Именно там в свое время «гулял» еще памятный всем старожилам Емельян Пугачев...

Разумеется, дело затянулось. Для всего этого потребовалось высочайшее разрешение...

Но, как бы там ни было, 17 августа, вместе с тем же Сергеем Соболевским, Александр Сергеевич выбрался из Санкт-

Петербурга. В природе веяло чем-то слишком тревожным. На столичный город явно надвигалась сильнейшая буря. Быть может грозило даже очевидное наводнение. В ящике, с потребными в путешествии книгами, у Пушкина лежал том с произведениями Мицкевича. На титульной странице его красовалась надпись Сергея Соболевского...

Возвратился же Пушкин после своего четырехмесячного отсутствия в довольно веселом настроении. На календаре стояло уже 21 ноября. В отсутствие мужа супруга его, Наталья Николаевна, оставила дачу на Черной речке и перебралась на новую квартиру близ Летнего сада, в доме А. К. Оливье.

Бог его знает, что удалось поэту сочинить в этот срок в своем наследственном Болдине... Когда Николай Васильевич посетил его на новой квартире, Пушкин захлебнулся рассказывать, как, приехав поздно вечером, он не застал жены дома, как тотчас поехал за ней и увез ее с бала – вроде того, как улан увозит уездную барышню.

Затем прояснилось: в общей сложности Александру Сергеевичу удалось проехать на лошадях свыше трех тысяч верст. Как имевшему чин титулярного советника, Пушкину полагалось подавать лишь обыкновенную почтовую тройку. Однако он иногда нанимал четыре или даже шесть лошадей дополнительно – для ускорения следования...

А привез оттуда не только описание пугачевского бунта, не только почти заверченный роман «Капитанская дочка»,

но и... Поэму, посвященную Санкт-Петербургу! Озаглавил ее – «Медный всадник». Говорил: это станет достойным ответом поляку Мицкевичу...

– «Люблю тебя, Петра творенье, – процитировал, вроде бы совершенно некстати. – Люблю твой строгий, стройный вид»...

* * *

Идею «махнуть» в Малороссию Гоголь высказывал в письме к Максимовичу еще летом 1833 года. К наступлению зимних морозов идея созрела в нем полностью, и он почувствовал в себе настоятельную потребность прибегнуть к помощи друзей.

В письме к Пушкину от 23 декабря того же, 1833 года, посетовав вначале на собственные недуги, Николай Васильевич вдруг вспоминает, будто ему уже предлагали место профессора в Московском университете (в 1830 году). Теперь он надеется на понимание нынешнего министра Уварова, прослывшего большим приятелем Александра Сергеевича. «Во мне живет уверенность, – пишет он в письме к Пушкину, – что если я дождусь прочесть план мой, то в глазах Уварова он меня (*подразумевается при этом прочитанный министром план*) отличит от толпы вялых профессоров, которыми набиты университеты. Я восхищаюсь заранее, когда воображу, как закипят труды мои в Киеве. Там я выгружу

из-под спуда многие вещи, из которых я не все еще читал вам. Там я кончу историю юга России напишу всеобщую историю, которой, в настоящем виде ее, до сих пор, к сожалению, не только на Руси, но даже и в Европе нет. А сколько соберу там преданий, поверьев, песен и пр.!»

Пушкин, надо предполагать, пожимал плечами, читая признания своего молодого коллеги. Но посодействовать обещал.

В канун 1834 года, раздумывая о грядущем, Гоголь обращается к своему гению с надеждами на будущее. «Таинственный, неизъяснимый 1834! – ложатся на бумагу его мечтания. – Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, – этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности? В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моим южным, прекрасным, чудным небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками, со своими как бы гармоническими обрывами, и подмывающий ее мой чистый и быстрый, мой Днепр! – Так ли?»

И он, действительно, начинает многое совершать. В том же, 1833 году, несмотря на явный творческий кризис, была им написана «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (2 декабря читал ее Пушкину). В самом конце 1833 года, как предполагают литературоведы,

завершены были «Старосветские помещики», своеобразная рефлексия на все, что только связывало автора с украинскими краями.

И все же главные устремления писателя были направлены на историю. «Я весь теперь погружен в историю малороссийскую и всемирную, – пишет он 11 января 1834 года Михаилу Погодину. – И та, и другая у меня начинают двигаться. Это сообщает мне какой-то спокойный и равнодушный к житейскому характер... Ух, брат! Сколько приходит ко мне мыслей теперь! Да каких крупных! Полных! Свежих! Мне кажется, что сделаю кое-что необщее для всеобщей истории. Малороссийская история моя чрезвычайно бешена, да иначе, впрочем, и быть ей нельзя. Мне попрекают, что слог в ней уж слишком горит, не исторически жгуч и жив; но что это за история, если она скучна!»

В «Северной пчеле», в «Московском телеграфе», в «Молве» в самом начале 1834 года появляется озорное (иначе не скажешь) его объявление об истории малороссийских казаков. «Я решился принять на себя этот труд, – пишет он, – и представить сколько можно обстоятельнее: каким образом отделилась эта часть России, какое получила она политическое устройство, находясь под чуждым влиянием; как образовался в ней воинственный народ, означенный совершенною оригинальностью характера и подвигов; каким образом он три века с оружием в руках добывал права свои и упорно отстоял свою религию, как, наконец, навсегда присоединил-

ся к России; как исчезло воинственное бытие его и превращалось в земледельческое; как мало-помалу вся страна получила новые, взамен прежних, права, наконец, совершенно слилась в одно с Россиею. Около пяти лет собирал я с большим старанием материалы, относящиеся к истории этого края. Половина моей истории уже почти готова, но я медлю издавать в свет первые томы, подозревая существование многих источников, может быть, мне неизвестных, которые, без сомнения, хранятся где-нибудь в частных руках».

Предполагаемые материалы просит присылать ему на дом или же в книжный магазин Александра Смирдина.

Каково! – остается воскликнуть в который раз. В этих объявлениях, во-первых, чувствуется отчетливое желание их составителя показать себя эрудированным в вопросах истории, или, по крайней мере, желание стать таковым. Во-вторых в них было заявлено «верное» толкование интересов охранителей режима в смысле понимания отношений Великой России с Малороссией, России с Украиной.

«Ну, как такого матерого специалиста не назначить профессором университета?» – следовало подумать значительным лицам, занимающим недоступно-высокие должности.

В дополнение ко всему изложенному, в февральском номере «Журнала Министерства народного просвещения» появилась его статья «План преподавания всеобщей истории», в апрельском – еще целых две: «Взгляд на составление Малороссии» и «О малороссийских песнях»...

Таким вот образом обстояли дела накануне знаменательного момента, когда автор приступил к написанию повести «Тарас Бульба».

Нетрудно предположить, что в это же время он был погружен в чтение различных источников, среди которых, в первую очередь, следует назвать одно замечательное произведение.

К истории создания его мы и обратимся сейчас.

* * *

Рукопись этой книги имела вполне детективное начало.

В ту пору как раз, как Никоша Яновский завершал свое обучение в Нежинском лицее, в местечке Гриневе (в настоящее время оно относится к Брянской области) производилась опись имущества князей Лобановых-Ростовских, унаследовавших часть владений графа Ильи Андреевича Безбородко, родного брата знаменитого канцлера всего Российского государства. Дочь Ильи Андреевича, Клеопатра Ильинична, была уже выдана замуж за генерал-майора – князя Александра Яковлевича Лобанова-Ростовского...

Когда усталые чиновники добрались, наконец, до обширного книгохранилища, у них мигом загорелись глаза:

– Вот где клад!

– Да...

Внимание чиновников сразу же приковала к себе руко-

писная книга под необычным заглавием – «История русов». Пробежав глазами всего лишь несколько строчек, затем страниц, чиновники разом уставились взглядами друг на друга. Их ошеломил сам язык находки. Еще более поразило ее содержание: прошлое украинских земель, жители которых именовались емким словом – русы!

– Это сокровище...

– Правда... И все они – как живые... Так и стоят перед глазами...

– Что вроде нового Тита Ливия...

Слухи о рукописи пошли гулять по всей губернии. Писцы-переписчики трудились, не разгибая спины. К праздным любителям древностей присоединялись настоящие знатоки. Скажем московский профессор Осип Бодянский и маститый историк Дмитрий Бантыш-Каменский, создатель пятитомной «Истории Малой России».

Один из списков «Истории русов», авторство которой сразу связали с именем церковного авторитета Григория (Георгия) Конисского, оказался в руках Александра Пушкина, как раз ожидавшего выхода из печати своей поэмы «Полтава». Творец «Истории русов» показался Александру Сергеевичу живописцем неограниченных возможностей, «великим историком Малороссии». Написанные им страницы пестрели зримыми типажам. На каждой из них ощущался топот копыт, брэнчание бандуры, неумолкаемый звон оружия. Свой «важный труд», по мнению поэта, Конисский «совершил...

с удивительным успехом».

Найденная рукопись вступила в широкий научный оборот. Во второе издание своей «Истории Малой России» (1830) Бантыш-Каменский внес поправки, почерпнутые из тщательно проштудированной им рукописи по истории русов.

«История русов» восхитила гениального украинского поэта Тараса Шевченко, а также историка Николая Костомарова. Не оставила она равнодушным писателя Пантелеймона Кулиша. В ней четко улавливались идеи автономии Украины.

И все же главное заключалось не в этом. Добрая треть новонайденной книги посвящена была войне под руководством Богдана Хмельницкого, которая рассматривалась как вполне законное возмущение народных масс. И тут же в ней подчеркивалось, что воссоединение двух братских народов осуществлялось на принципах равноправия.

Новонайденное произведение считалось полулегальным, пока упомянутый профессор Бодянский не решился издать его типографским способом (1846). Известный ученый, он также связывал рукопись с именем Георгия Конисского, обучавшегося в свое время в Киевской академии, а впоследствии ставшего в ней даже ректором. Помимо солидной древности авторство Конисского придавало книге налет определенной лояльности к существующему строю, стало быть – и легальности.

Между тем произведение подвергалось все более тщательному анализу, в результате чего обнаружилось, что вряд ли может оно принадлежать перу достославного Конисского. Не поверил в такое известный нам московский профессор Михаил Максимович, который и познакомил с ним поэта Пушкина. Михаил Александрович считал рукопись совершенно «неверной, но высокохудожественной подмалевкой истории». Не поверил в авторство Конисского также историк Костомаров. Подобной критической мысли придерживались Кулиш и профессор Карпов...

Так кто же в действительности мог написать «Историю руков»? Кому доступно было столь глубоко и всесторонне проникнуть в далекое прошлое, изучить украинские летописи, сказания, богатейший фольклор всего украинского народа? Кто сумел обобщить все это в блестящем литературном произведении, доведя рассказ вплоть до 1769 года? Наконец, кому было выгодно призывать потомков казачества чуть ли не к восстановлению строя, ликвидированного еще в XVIII столетии? Обосновывать справедливость наделения украинского шляхетства правами, равными с великорусским дворянством?

Произведение, сказано, было найдено в библиотеке, связанной с именем канцлера Александра Андреевича Безбородко, что наводит на мысль, не он ли является сочинителем этой такой необычной находки? Питомец казацкой сре-

ды, потомок польского рода банитов¹⁴ Ксенженицких, обучавшийся в той же Киевской академии, Безбородко всегда интересовался историческими сведениями о родной земле. Более того, ему лично принадлежит немало произведений на историческую тематику. Общаясь со знающими людьми, Александр Андреевич беспрепятственно пользовался как государственными, так и частными архивами. Собирал редчайшие документы. К тому же обладал великолепной зрительной памятью – качество, исключительно ценное для историка любого направления...

Михаил Максимович, в свою очередь, заподозрил в авторстве «Истории русов» князя Н. Г. Репнина-Волконского, в свое время – военного губернатора Полтавской и Черниговской губерний. Академик А. П. Пыпин проникся мыслью о возможности написания книги кем-нибудь из декабристов местного, малороссийского происхождения...

Однако все это – только гипотезы, которые рождались и умирали.

Но вот украинский историк А. М. Лазаревский, знакомясь с остатками семейного архива помещиков Полетик, наткнулся на письмо одного из них, Василия Григорьевича, в свое время отправленное графу Румянцеву. В письме сообщалось, что отец Полетики, Григорий Андреевич, всю жизнь собирал материалы по истории Украины. Что и сам он, сын,

¹⁴ Баниты – изгнанники из пределов Польского королевства (польск., из средневековой латыни).

Василий Григорьевич, продолжает дело довольно рано почившего своего родителя...

Чем дальше Лазаревский сопоставлял известные ему факты, тем сильнее укреплялся во мнении: «История русов» вполне могла быть написанной семейством помещиков Полетик! Отцом и сыном... Оба теснейшим образом, к тому же, были связаны с Георгием Конисским...

Григорий Андреевич Полетика происходил из старинного казацкого рода. Родился он в городе Ромны, в 1725 (по другим данным – в 1723) году. Двенадцатилетним отроком оказался в Киевской академии, где основательно успел изучить латынь, древнегреческий язык, а также немецкий, польский и прочие современные европейские наречия.

И все же вышел оттуда с неумным желанием продолжать учиться дальше. Очень скоро следы молодого Григория Полетики отыскивались на берегах Невы. 1746 годом помечено его личное прошение зачислить переводчиком в Академию наук, президентское кресло в которой только что оккупировал восемнадцатилетний граф Кирилл Григорьевич Разумовский.

В столице настороженно посматривали на аттестат провинциала, где черным по белому было выведено, будто предъявитель сего в совершенстве владеет немецким языком. Авторитет старинной Киевской академии, конечно, стоял высоко, еще со времен Петра Великого, но как было на-

значить «хохла» толмачом с неметчины, когда в столице в избытке природных швабов?

Порядки требовали обязательно экзаменовывать претендентов, поскольку в числе их встречались вчерашние колбасники, коновалы, авантюристы, даже бродяги с явно поддельными аттестатами и прочими бумажными документами. Предпочтение отдавалось зарубежным дипломам. Однако в Петербурге в ту пору входило в моду все украинское: Разумовские достигли своего земного зенита. Выходцев с берегов Днепра в российской столице набиралось немало.

Полетику экзаменовали такие известные профессора и академики, как Штелин, Крузиус, Тредьяковский. Экзамены претендент выдержал с честью. В докладе президенту Академии наук от 25 июля 1746 года Василий Тредьяковский рекомендовал его на службу, поскольку юноша обнаружил великолепные познания как в русской, так и в латинской словесности. Подобные отзывы высказали и другие экзаменаторы – в отношении немецкого языка и в прочих, весьма актуальных для России предметах.

Став переводчиком, Полетика записывается в академическую гимназию, где диапазон изучаемых предметов выглядел значительно шире, нежели в его киевской *alma mater*. У молодого Григория появилась возможность в большем объеме овладеть языком французским, открывавшим пути во все отрасли знаний. Под руководством Г. Рихмана, соратника Михаила Васильевича Ломоносова, проштудировал он

также все премудрости высшей математики. И все же, переведясь на службу в Синод, удостоившись там уже чина надворного советника, Полетика попросился в отставку (1761) и уехал обратно к себе в Малороссию.

Возможно, Григорий Андреевич ощутил, что занятия, которым он предается, лишь частично созвучны с потребностями его непростой, но слишком одухотворенной души. Ко времени отставки он почувствовал вкус настоящей литературной деятельности. В мартовской книжке академических «Ежемесячных сочинений» за 1757 год появилась его работа «О начале, возобновлении и распространении учения и училищ и нынешнем их состоянии». Правда, печатание приостановилось из-за трений с профессором Ломоносовым, руководителем всего этого академического издания. Михаил Васильевич потребовал внести в рукопись существенные исправления, на что сам Полетика категорически не соглашался. В названном журнале увидели свет его переводы с древнегреческого языка, знания которого, вынесенные еще из родного Киева, пополнял он в столице, причем настолько успешно, что Петербург в результате получил составленный им словарь на шести языках (1763).

Однако Григорий Андреевич недолго просидел на родине. Явившись опять в Петербург, он снова попросился на службу. Его назначают главным инспектором над классами в Морском шляхетском корпусе, созданном на базе московской школы математических и навигационных наук и в 1715

году перебазированной на берега Невы.

Корпус размещался на Васильевском острове, на территории, где ныне высятся строения Военно-морского училища. В одном из тамошних домов, не сохранившихся до наших дней, Полетика поселился вместе с семьей, привезенной им из родных малороссийских краев.

Новый инспектор с энтузиазмом приступил к работе в учебном заведении, во главе которого стоял инженер, генерал-поручик Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов, отец знаменитого впоследствии полководца, победителя самого Наполеона Бонапарта.

Из стен Морского корпуса вышло немало выдающихся моряков. Заслуги Полетики в их подготовке – неоспоримы.

Но Григорий Андреевич всё так же не ограничивал себя одной службой. В качестве депутата от Лубенского казачьего полка он был введен в состав Комиссии по составлению проекта нового Уложения, в котором трактовались права дворянства, и в 1768 году выступил в ней со всесторонне продуманной обстоятельной речью. Ратуя за расширение дворянских прав, он, конечно, надеялся, что обещанные привилегии будут предоставлены также дворянам, – уроженцам близкой ему Малороссии.

Чтобы иметь более полное представление обо всех исторических процессах надо было всесторонне изучать документы. В доме Морского корпуса, в обширном кабинете инспектора, заставленном шкафами с книгами, с бесчислен-

ным количеством пожелтевших рукописей, копий со старинных документов, все чаще и чаще собирались гости из далекой Малороссии. Там продолжались беседы, велись ожесточенные споры. История казачьего края обретала конкретные, зримые очертания.

Григорий Андреевич все больше и больше завоевывал себе славу ученого человека и патриота родного края. В конце концов, на него обратила внимание императрица Екатерина II. Воодушевленный высочайшим вниманием, он принялся разрабатывать многочисленные проекты, в которых отстаивал автономию родного края, права и привилегии малорусского дворянства, руководившего борьбой против польских захватчиков...

В 1771 году в Морском корпусе случился пожар. Огонь добрался и до квартиры инспектора над классами. Драгоценная библиотека понесла ужасные потери. Подавленный этим грандиозным несчастьем, Григорий Андреевич подал рапорт об увольнении по болезни и в начале 1773 года, уже в чине полковника, оставил Санкт-Петербург. Вместе с ним уезжал и его восьмилетний сын, упомянутый нами Василий Григорьевич.

С тех пор Григорий Андреевич жил в селе Юдиново Погарского уезда, неподалеку от местечка Гринёво, с событий в котором начинался весь этот рассказ. Состояние отставного полковника, достигавшее значительных размеров, требовало самого пристального внимания, отнимало немало вре-

мени. При неопределенности тогдашних законов, каждый собственник на Украине (как и в Великороссии) стремился доказать свое право на то или иное село, урочище, поле, лес. Энергичные люди отыскивали или подделывали соответствующие документы, обращались с ними затем в различного рода суды. А там уже, в качестве доказательства, нередко выступали их кошельки. Чтобы не оказаться в положении пушкинского поручика Дубровского, приходилось быть всегда начеку. Судебные разбирательства тянулись годами. Без конца судился и Григорий Андреевич.

Однако ничто не мешало ему заниматься науками. Неизвестно, какое количество книг посчастливилось вывезти из столичного Санкт-Петербурга, что уцелело там от огня, однако книгохранилище в Юдинове богатело чуть ли не с каждым днем. Обложившись печатными трудами, копиями, а то и подлинными раритетами, Григорий Андреевич погружался в отшумевшее прошлое, припоминал также все, что лично ему посчастливилось видеть. Под пером его родились «Записки о начале Киевской академии». Продолжалась работа над словарями – знания отставного инспектора по-прежнему были неисчерпаемы.

И все же, как явствует из письма его сына, главным для Григория Андреевича всегда оставалась история родной земли. В его кабинете по-прежнему собирались гетманы, полковники и такие же виртуальные казацкие толпы. Они вступали в сражения, мечтая о лучшей жизни – для себя и

для своих потомков. В документах одна за другой срубались головы, падали трупы. Без конца и края струилась кровь...

Осенью 1784 года, вроде бы по имущественным делам, Григорий Андреевич снова оказался в Санкт-Петербурге. Но главная цель поездки заключалась в чем-то ином: он неспроста получил аудиенцию у графа Александра Андреевича Безбородко – всемогущего государственного чиновника. Собеседников, наверняка же, интересовали не только судебные споры. Их сближал неиссякаемый интерес к истории.

Но что говорилось в графском дворце, расположенном близ Исаакиевского собора, нам теперь остается только домысливать.

Дорожные тяготы вконец подорвали здоровье Григория Андреевича. Он скончался на берегах Невы, похоронен был в Александро-Невской лавре. Однако могила его затерялась еще в XIX веке...

Сын Григория Андреевича, Василий Полетика, воспитывался в домашней обстановке, сначала в Петербурге, затем – на приволье родной украинской природы. По рекомендации Григория Конисского, наставника отца по Киевской академии, оказался он в городе Вильно, где усвоил математические науки, физику, гуманитарные предметы. В первую очередь – латынь, затем языки – французский, немецкий, польский. Завершив свое обучение, после неожиданной кончины старика отца, юноша определился на военную службу. Очевидно, в голове его еще живо сидели воспоминания о бра-

вых гардемаринах, виденных когда-то на Васильевском острове, об их зеленых ярких мундирах, о лодках, мелькавших на невиской волне. Как бы там ни было, в декабре 1786 года, будучи двадцати с небольшим лет, Василий служит поручиком в Кронштадте, затем становится адъютантом при директоре Морского кадетского корпуса – всё том же Илларионе Голенищеве-Кутузове, которого помнил с детства и под чьим руководством пребывал его покойный родитель. Через два года поручика произвели в капитаны. Попросившись в отпуск, он уходит в отставку (1790) и оседает в имении Коровинцы, в двадцати верстах от уездного города Ромны.

Василий Григорьевич всю жизнь оставался деятельным человеком, много писал, а все же большую часть свободного времени уделял истории. Изучая минувшее, он проникался мыслями своего отца. Их предполагаемый совместный труд выдержан в едином духе. В нем нет наслоений разнящихся взглядов. Кстати, не замечено там и особенностей, которые бы свидетельствовали о двойном авторстве. Возможно, продолжая начатое родителем, сын заново перебелил весь отцовский труд. Возможно, достались ему лишь исключительно краткие отцовские наброски, планы, которые он творчески совершенствовал. Как бы там ни было, из всего предполагаемого действительно могла получиться внушительная «История русов».

По всей вероятности, завершив произведение и снабдив его заголовком, с целью придать сочинению налет опреде-

ленной древности (о публикации не могло быть и речи), Василий Григорьевич всецело приписал его Георгию (в миру Григорию) Конисскому.

Умер Василий Григорьевич в 1845 году, накануне выхода в свет печатной «Истории русов». Похоронили его в Корovinцах...

Рукопись «Истории русов», предположительно, литератор Гоголь-Яновский получил от Пушкина, во время пресловутого с ним общения в Царском Селе (1831).

* * *

Других печатных источников по истории казачества набиралось совсем немного.

Все это полностью позволительно было отнести и к памятникам устного народного творчества, в частности – украинского. Собираение материалов подобного рода находилось еще только в начальной стадии, хотя всюю уже вызревала мысль, что в фольклорных произведениях, в буйной народной фантазии, отражены все грани общественной жизни разных народов.

На это, в пределах Российской империи, пожалуй, впервые указал ученик московского ученого украинского происхождения Р. Ф. Тимковского – К. Ф. Калайдович в своем предисловии к публикации русских былин (1818).

А еще год спустя, читатели получили возможность позна-

комиться также с украинским народным творчеством, с народными думами, правда, литературно обработанными князем Н. А. Цертелевым (Церетели), который в то время служил помощником попечителя Харьковского учебного округа.

Замечательный труд исследователя посвящен был вельможе Д. П. Трощинскому, проживавшему на ту пору в Кишинцах, в богатейшей собственной вотчине. Нельзя исключать, что юный Никоша Яновский мог видеть сборник в руках своего отца, Василия Афанасьевича, стоявшего во главе всего театрального дела в имении Дмитрия Прокофьевича Трощинского, бывшего екатерининского секретаря.

«Малороссийские песни», изданные хорошо знакомым нам Максимовичем, встретили уже прекрасно подготовленный интерес не только среди украинских читателей. Ими, помнится, восхищался Пушкин. Великого русского поэта поражали образность и глубина чувств, которыми переполнены эти, как правило, небольшие песенные шедевры. Что же касается малороссов – все песни из сборника Максимовича ими просто заучивались наизусть.

Интерес к народному творчеству возрастал повсеместно. В начале 30-х годов XIX века в университетском Харькове появились выпуски фольклорного и историко-литературного издания «Запорожская старина», в которых помещались думы, исторические песни, отрывки из летописей, старинные предания, а также оригинальные статьи по данной тема-

тике, сочиненные самим издателем. Издавал же и редактировал сборник, как значилось на титульном листе, И. И. Срезневский, профессор университета по кафедре статистики.

Измаил Иванович Срезневский вырос на харьковской земле, хотя по деду считался рязанцем, по отцу – ярославцем. Отца его, задолго до рождения сына, пригласили в Харьков на кафедру красноречия и поэзии. Однако профессорство это продлилось совсем недолго. Он вскоре умер. Вдова его осталась с тремя детьми, мал мала меньше. Старшему из них, Измаилу, шел тогда всего лишь седьмой год. Благодаря стараниям отцовских друзей и настойчивости матери, юноша получил солидное университетское образование, завершив свое обучение уже в семнадцатилетнем возрасте.

Это был удивительный молодой человек, эрудированный во всех областях науки, к тому же – страстно влюбленный в народное творчество во всех его проявлениях.

О харьковском периоде в жизни Измаила Ивановича, относящемся ко времени выпуска сборников «Запорожской старины», оставил свои воспоминания Николай Иванович Костомаров, воспитанник того же Харьковского университета, ныне законно носящего звание В. Н. Каразина, своего подлинного основателя. Жил молодой профессор в доме Юнкфера, за хорошо известною всем харьковчанам речкою Лопань. Путь к нему пролегал под защитой тынов и разного рода парканов, утыканных расписными макитрами и такими

же добротнo-выпуклыми горшками. Надо всеми воротами торчали головы пожилых уже стариков, прикрытые сплошь бараньими шапками, с неперемнными люльками под седыми усами. Приветствуя прохожих, старики выделяли среди них студентов, а также неспешных наставников всей учащейся молодежи. Рассуждали с ними о древних словах, связанных с отшумевшим, невозвратимым временем.

Квартира профессора Срезневского чудилась продолжением народной доброжелательности. Гостеприимства ей придавала мать Измаила Ивановича, Елена Ивановна, – молодая, щедро начитанная женщина. Фортепианные звуки, рожденные ее гибкими пальцами, казалось, освящают неповторимость окрестных мест, теплоту июльского вечера, когда наслаждением представляется уже само пребывание в ароматных сумерках, а то и в прозрачности зимних садов, тишину которых нарушают разве что ребятишки, слетающие на санках с крутых, заснеженных берегов.

Срезневский какое-то время служил домашним учителем у помещиков Подольских, недалеко от Днепровских порогов.

– Вот где красота, Николай Иванович! – твердил он Костомарову, сощуривая восхищенные глаза. – Эти пороги... Величие природы вдохновляет на героические поступки и такого же рода песни... Вам необходимо отправиться туда, если в самом деле стремитесь изучить язык и понять саму душу малорусского народа!

Говорил Измаил Иванович всегда восторженно. Виденных людей рисовал такими необычными красками, что собеседникам эти особи представлялись настолько отчетливо, как если бы находились в этом же помещении, переполненном мажорными фортепьянными звуками.

– Встретился мне престарелый дед... Пожалуй, свыше десяти десятков у него за плечами; но телом еще настолько крепок – что тебе настоящий дуб... И столько в голове у него всякой всячины... Я едва успевал записывать. Теперь вот теряюсь в сомнениях, что из рассказов его следует в первую очередь поместить в «Запорожской старине»... Привез оттуда горы записей, разных бумаг... Мне завидует сам Гоголь...

Заслышав имя писателя, уже вовсю прогремевшего своими чудесными «Вечерами на хуторе близ Диканьки», Костомаров¹⁵ не поверил собственным ушам. Но Срезневский показывал письмо, где мелким убористым почерком было выражено восхищение истинным народным словом. Там, действительно, звучала благодарность собирателю неоценимых казацких сокровищ.

– Гоголь готовит какое-то важное произведение, на сей раз – о запорожских казаках, – был уверен Срезневский. – Изучает народные песни, сказания, всё! Знаю...

От Срезневского, из первых рук, Костомаров услышал

¹⁵ Эти рассказы говорливого профессора Срезневского побудили Костомарова самому совершить поездку в Полтаву, Диканьку, побывать затем на днепровских порогах...

также о поэте Иване Петровиче Котляревском, авторе украинской перелицованной «Энеиды», в которой, под маркой древних римлян, выступают всамделишные казаки.

– Живет старик в Полтаве. Небольшой домик, сад... Долголетним трудом заслужил себе приличную пенсию от имени царского правительства. На жизнь он нисколько не жалуется. Одно тяготит старика: ни разу не видел в печати своих драматических произведений. Они же не сходят со сцены не только в Полтаве, но и в нашем, харьковском театре. Антрепренер Штейн обращается с ними так, как если бы сам сочинил все эти пьесы...

Листы синеватой бумаги тут же освобождались от ленточек, которыми перехвачены были крест-накрест. Срезневский указывал на заголовки, проставленные заливчатскими писарскими литерами: «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник».

– Гостил я как-то у старика... Он поручил мне издание своих драматических произведений. Жду теперь разрешения из Санкт-Петербурга...

Костомаров, как и прочие представители харьковской молодежи, всецело находился под обаянием личности молодого профессора, который вскоре отправился в Европу, пешком обошел все славянские земли, изучая встречавшиеся ему там наречия...

Приоритеты XVII века выглядели несколько странно для нашего понимания. Сильнейшим государством в Европе в те годы считалась Франция, население которой перевешивало численностью народонаселение всего просторного Российского государства. Своеобразным центром вселенной признавался в ту пору город Париж.

Цивилизованный мир в глазах западных европейцев обрывался сразу за Вислой, за новой польской столицей, пришедшей на смену средневековому Кракову. Сами поляки называли Варшаву «вторым Парижем», ставя данное выражение в один ряд с сентенцией «Москва – третий Рим». Всё, что лежало дальше, к востоку, окутано было сплошными загадками, представляло собою нечто такое, что обозначалось латинским словосочетанием *terra incognita*, неведомая земля.

О Киеве, конечно, французы знали и помнили: именно отсюда привезена была дочь Ярослава Мудрого, ставшая у них королевой Анной, супругой овдовевшего внезапно Генриха I. Скульптурное изображение славянской женщины французы сохранили только на церковных стенах. Оно сбереглось у них в старинном портале храма, в городке под названием Санлис, недалеко от древней французской столицы.

О Днепре французы также имели довольно слабое пред-

ставление. Скорее всего – по сочинениям Геродота, «отца исторической науки», специальную главу в своей книге посвятившего приднепровским землям, заселенным кочевыми скифами. Указанные края изучались тогда по трудам византийских ученых, по книгам разного рода путешественников.

Что касается казаков, осевших в бассейне Днепра, в Европе о них говорилось немало: об их полувоенном, полумонашеском объединении – Запорожской Сечи. Об удачном расположении военного, все-таки, их становища. Об исключительной храбрости, выносливости и неодолимости казаков запорожцев. О том, что они, никогда не болея при жизни, умирают скорее от ран или старости...

В самом существовании казаков европейцы усматривали рудименты природных сил, вселившихся в этих людей, в сознании которых переплетались республиканские идеи Рима, религиозные чувства византийцев и необузданность диких кочевников.

Впрочем, европейцам вроде бы выпадала возможность убедиться воочию в казацкой храбрости. Существует предание, будто бы кардинал Джулио (Жан) Мазарини успел воспользоваться услугами запорожцев, явившихся на его призывы под командованием Богдана Хмельницкого (по другой версии – Хмельницкий только подписывал соответствующий договор, а руководил запорожцами атаман Иван Серко). Как бы там ни было, Европа, в том числе парижане, своими глазами могла вдоволь полюбоваться видом бритых

голов, чубами-оселедцами, красными жупанами и широчеными шароварами на поясах-очкурах, стягивавших казацкие животы. Запорожцы, бок о бок с королевскими мушкетерами, участвовали во взятии крепости Дюнкерк, расположенной в каких-нибудь сотнях верст от столичного Парижа.

Что касается конкретных дел на Днепре то Европа знала о них по писаниям польских историков, подававших события в своеобразном освещении, однако же непременно с долей порядочной объективности. Мечтая о лаврах знаменитого Геродота, целый ряд польских историков был бы не прочь остаться в анналах вечности. Они не скрывали истинного положения на украинских землях.

В описанной ситуации чрезвычайно важными могли показаться свидетельства постороннего наблюдателя. Таким очевидцем выступил иностранец, которого звали Гийом Левассер де Боплан. Он был уроженцем французской Нормандии, современником знаменитого Декарта (Картезиуса), по всей вероятности получившим также вполне достойное образование. Во всяком случае – человеком энергичным, смелым и непоседливым. Как и Декарт, математик, философ, – в первую очередь, пожалуй, философ, – служивший артиллеристом в королевской армии, дослужившийся там до капитанского чина, так и Боплан: удостоился такого же звания, но уже от польской короны. Очевидно, на Висле появился он на излете правления Сигизмунда III, скончавшегося в 1632 году, поскольку, как нам уже хорошо известно, прослужив

семнадцать лет, уже после смерти Владислава IV (1648), сына Сигизмунда, по-прежнему brave француз возвратился снова на родину.

Задачи, поставленные Боплану польским правительством, заключались в создании заслона, способного обезопасить украинские провинции со стороны турецких и татарских владений. Ему предстояло возвести систему новейших укреплений. Подобного рода занятия, связанные с непрерывными перемещениями, предоставили французскому капитану возможность постоянно вращаться в гуще казацких масс. Он проникал на значительные расстояния от старинного Киева, вплоть до черноморских берегов. Наблюдал там нравы и быт веселящейся вечно шляхты, казачества, подневольного или просто зависимого люда, армейских формирований, крепостных гарнизонов. От зоркого глаза француза не ускользали смешения католицизма, православия, униатства, иудаизма, ислама. Все перечисленное, сохраненное в памяти, занесенное на бумагу, позволило Боплану создать замечательный труд, получивший название *Description d'Ukraine* (Описание Украины). Этот труд обессмертил имя его.

Первоначально книга вышла в Руане в количестве ста экземпляров и сразу, естественно, стала большим раритетом. Появление ее (1651) совпало с разгаром войны украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого, соединившего в себе силу запорожской вольницы, напористость

крымских татар, поддержку донских и прочих казацких объединений, а также поддержку и даже пособничество окрепшего русского правительства.

Конечно, известия о событиях, потрясших польское королевство, вовлеченное к тому же в бескомпромиссную войну с Россией и Швецией, безумно интересовали читателей в Западной Европе. Экземпляры Бопланова труда были зачитаны до дыр и совсем не дошли до нашего времени. Через десяток лет (1660), в том же Руане, книга вышла вторым изданием, озаглавленная уже как *Description d'Ukraine, qui sont plusieurs provinces du Royaume de Pologne, contenues depuis les confins de la Moscovie, insques aux limites de la Transilvanie*. Новое издание охватывало описание украинских земель Речи Посполитой, тянувшихся вплоть до границ Московского государства и простиравшихся до пределов так называемой Трансильвании¹⁶. Книга изобиловала разными дополнениями: снабжена была географическими картами, а также изображениями казаков, поляков и прочих обывателей казацких земель. Все иллюстрации к ней мастерски выполнил замечательный голландский художник-гравер Вильгельм Гондиус, в свое время также пребывавший на службе у польских королей.

Значение этого произведения теперь невозможно переоценить. Оно переведено было на многие языки – английский, немецкий, латинский, польский. Им зачитывалась вся

¹⁶ Историческая область на западе нынешней Румынии.

Европа, поскольку события в районе между Днестром и Вислой разгорались с каждым днем все сильнее и сильнее.

В 1832 году, уже в бытность Гоголя-Яновского в Санкт-Петербурге, книга Боплана появилась на русском языке. Перевод ее осуществил некий аноним, подписавшийся загадочной аббревиатурой Ф. У.

Человека, укрывавшегося за этими буквами и снабдившего издание собственными примечаниями, звали Николай Герасимович Устрялов. Он был профессором столичного университета, официальным, чуть ли не сразу после Карамзина, историком Российского государства, охранителем его устоев, прекрасно разбиравшимся как во взаимоотношениях Украины с Россией, так и в делах православной веры. Об этом свидетельствует такой вот факт: через десяток, примерно, лет после выхода этого перевода в свет, получив на отзыв магистерскую диссертацию выпускника Харьковского университета Николая Костомарова, Устрялов сделает крайне негативное о ней заключение. В диссертации рассматривалась суть пресловутой Брестской унии, и рецензент сочтет, что проблемы подобного рода просто опасно выставлять на публичное рассмотрение. В результате его заключения последовало грозное правительственное указание: текст диссертации Костомарова уничтожить, автору предоставить возможность поработать над какими-нибудь более безобидными темами...

Конечно, Гоголь-Яновский с трепетом припадал к доставшейся ему книге. В писаниях Боплана перед его глазами вставала картина богатейшего края, где вбитое в почву дышло чуть ли не сразу после этого становится плодоносящим деревом, а брошенное в реку копьё так и застывает в вертикальном своем положении – из-за кишашей вокруг него рыбы.

И что же? Кому удавалось распоряжаться такими несметными богатствами? «Крестьяне в Польше (читай – в Малороссии) мучаются, – был уверен Боплан, – как в чистилище, в то время как господа их блаженствуют, как в раю!» А кем являются упомянутые господа? Какими-то вторгшимися завоевателями? Не только. Господствующие классы были в то время смешанного происхождения, как и смешанного вероисповедания. Но вот какая наличествовала в то время тенденция. «Дворянство русское (читай – украинское), – пишет дальше Боплан, – походит на польское и стыдится исповедовать иную веру, кроме римско-католической, которая с каждым днем приобретает все новых приверженцев, несмотря на то, что все (sic!) вельможи и князья ведут свой род от русских (разумей – украинцев. Боплан, как и прочие жители Западной Европы, не видел различия между словами «украинец» и «русский»).

Гоголь-Яновский читает дальше, и в его воображении возникает старинный Киев, удаленный почти на две сотни лет от него. Территория города прорезана тенистыми улочками, то

бодро взбегающими на крутые пригорки и настоящие горы, а то смело ныряющими в пропасти, по дну которых мечутся частые ручейки. Вдоль этих улочек, за низкими изгородями, темнеют вишневые сады. А еще, куда ни ткнись, в этом старинном славянском городе рождается и замирает вездесущий топот копыт...

И вот уже колыхнулось лицо при тонком орлином носе, в широкополой шляпе, с выгнутыми над ее полями крутыми перьями. На ногах чужеземца – сверкающие ботфорты. Сам он – в коротком плаще, с золотой перевязью через слишком увертливое плечо...

Вместе с Бопланом, вновь и вновь, Николай Яновский пересекает степи, видит запорожцев в бою, следит за походными крепостями, составленными из окованных железом крепчайших возов. Вместе с Бопланом писатель получает возможность попутешествовать вниз по Днепру. Обозревает гремящие пороги, воочию видит остров Большую Хортицу, возведенную перед нею крепость Кодак. Ему отчетливо грезится лик коронного гетмана Станислава Конецпольского, который, подмигивая, спрашивает у казаков, хорошей ли получилась только что возведенная крепость, настоящая фортеция. А в ответ слышит весьма многозначительные слова из уст самого Богдана Хмельницкого, сказанные также на классически выверенном латинском языке: *Manu facta – manu distruo*. Смысл этих слов заключается в том, что сделанное человеческими руками – ими же может быть полностью уни-

что жено или разрушено. (Опять же, заметим, так и произойдет. Гарнизон недавно возведенного Кодака, во главе с французским полковником Марионом, не выполнит возложенных на него задач. Ведомые Сулемой, запорожцы уничтожат крепость, вырезав всех иностранных королевских наемников...)

Да, это была неоценимая книга в глазах человека, вздумавшего изобразить события давно ушедших лет.

* * *

И тотчас же вспомнилось...

Такого количества воды он не мог себе даже вообразить. Не слушая крепостных, дожидавшихся распоряжений относительно предстоящих покупок, не отрывался он взглядом от массы прозрачной воды. Она резко раскачивала бревенчатые и дощатые плоты с расставленными на них шалашами, матерчатыми палатками. А также с застывшими мужиками в островерхих бараньих шапках и какими-то слишком задумчивыми молодницами в вышитых шелком сорочках и клетчатых юбках. Видел сносимые лодки, различал остатки давно уже сваленных деревьев, обращаемых вокруг собственной оси. А взгляд упирался в возвышенности, на которых впору тесниться крутобоким фортециям...

Да, это был Днепр, Днипро-Славутич, о котором он столько наслышался. И ему, Никоше Яновскому, оставалось узнать, догадаться, далеко ли отсюда, от города Кременчуга,

куда он был послан на ярмарку, до прославленных днепровских порогов, о которых он задумывался еще в своем раннем детстве.

Плотогоны, в числе которых различалось немало беглых от собственных нерадивых господ, так и сверкали белозубыми улыбками:

– А чего, панычу? Можем и вас примостить на своих этих бревнышках! На плотах...

– Го-го-го! – подхватывали в толпе. – С ветерком и до Хортицы!

– Можем!

Все понимали: это всего лишь панская «забаганка». Пороги... Панычу и костей не собрать, если что-то случится... Иное дело – они. Это их работа... Нелегкая, но манящая, нехай ей грець¹⁷.

Ночами над веселой днепровской ширию висело такое же чистое небо, в центре которого лыбилась царственная луна...

Что же, Днепровых порогов Никоше Яновскому не пришлось увидеть ни тогда, в канун осени 1828 года, ни в последующем. Однако впечатления от встречи с могучей рекою остались в нем навсегда.

Оказавшись в Санкт-Петербурге, выплеснет он все свои впечатления в рассказе «Страшная месть»: «Чуден Днепр

¹⁷ Непереводимая игра слов, не имеющая к грекам, кажется, ни малейшего отношения (укр.).

при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина. И чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру».

На днепровском берегу, между горами, помнится, поместил Николай Васильевич скромное жилище атамана Данила Бурульбаша из той же «Страшной мести»...

* * *

Указанные пороги, между тем, сыграли важную роль не только в истории Украины, Польши, России, Турции, но и в жизни всей Западной Европы. Вкупе с многоликой Азией.

Днепровские пороги представляют собою выходы на поверхность каменных пород, из которых состоит так называемый ныне Украинский кристаллический щит, часть которого впечатана в твердь земли между городами Днепропетровском и Запорожьем. В ходе тысячелетий продолжалась непрерывная схватка воды и камня, пока, наконец, вода не пробила себе трудную извилистую дорогу.

Упоминания о каменных препятствиях на Днепре прослеживаются уже в греческих сказаниях об аргонавтах, совершавших плавание к заманчивым и таинственным берегам Эвксинского (Черного) моря. А что говорить о более позд-

них, исторических временах, когда Днепр превратился в широкую дорогу «из варяг в греки», а выступы в днище реки стали воистину жестким препятствием для всякого судоходства.

Более или менее подробные описания Днепра содержатся в труде византийского императора и ученого Константина Багрянородного, озаглавленном *De administrando imperio* (Как надлежит управлять империей), написанном примерно в 946–953 годах. В нем приводятся данные о семи порогах. Удивляясь своеобразным названиям, византийский автор смешивает древнерусские и скандинавские термины...

Восхищение силами природы ощущается в «Слове о полку Игореве». «О Днепре Слаутиче, ты еси пробил горы половецкие...», – восклицал древнерусский поэт, сотворивший эту донныне загадочную поэму. Подобное восприятие природы представляется нам вполне закономерным: в южной части нынешней Украины кочевали половцы, враждовавшие с нашими славянскими предками.

Порожистая часть реки тянется на расстоянии 65 километров. Сплошных преград, от берега до берега, насчитывалось там всего лишь девять, а прерывистых, называемых «заборами», в телах которых зияют большие и малые прорехи, – свыше шестидесяти. Между порогами набиралось также шесть десятков островов, то сплошь, от верха до основания, каменных, а то лишь базирующихся на несокрушимых гранитных основаниях.

В XIX–XX веках появилось немало предложений по расчистке русла реки. Однако вполне радикальные меры были предприняты только с постройкой величественного Днепрогэса. Исчезнув вконец под водой, на поверхность ее пороги выходили лишь в годы Великой Отечественной войны, когда плотина, переброшенная через могучую реку, оказалась основательно, чуть ли не полностью, разрушенной.

Вырвавшись из стародавнего плена, Днепр разливался на далекое расстояние. Русло его расширялось, образуя бесчисленные острова, главным среди которых считают Хортицу, покрытую в древности сплошными лесами. Об этом острове, получившем название Большая Хортица, в отличие от Малой, находившейся в начале порожистой зоны, впервые говорится в труде Константина Багрянородного. (Пожалуй, название самого острова представляет собой уменьшительную форму (уже в рамках славянского мира) от древнегреческого слова *χώρα* – земля, остров). Следующее, по времени, сообщение о Хортице помещено в Ипатьевской летописи под рубрикой «1103 год». Как раз в эту пору на острове собирались русичи перед походом на юрких степных кочевников – тех же природных половцев.

Годы монголо-татарского нашествия набросили тень на историю всех славянских земель. Что творилось в районе днепровских порогов, можно только догадываться. Затем Киев и лежащие близ него земли оказались в зависимости от литовских князей, а после унии 1569 года, то есть в ре-

зультате объединения литовского и польского государств, — под властью польской шляхты. Обширное пространство подверглось жесткой экспансии католической церкви, олицетворением которой в глазах православных стала Речь Посполита. Острова за днепровскими порогами, труднодоступные для поработителей, обретали все более притягательный ореол. Там селились люди, за которыми закрепилось прозвание «казаки»...

Кем же являлись эти казаки?

Традиция утверждает, что беспокойные головы собирались на Хортице еще в начале XV века. Занятием их становились рыбная ловля, охота, то есть поиски пищи. И это при том, что уже с первых часов пребывания в этих краях люди вынуждены были, в первую очередь, позаботиться о собственной безопасности. Они сразу же обрекались на воинский образ жизни.

Существует несколько теорий, объясняющих происхождение самого казачества.

Польские историки (М. Бельский, П. Пясецкий, В. Ковховский) — трактовали казаков как лиц чисто холопского происхождения, не смилившихся с подневольным своим положением. Их манил романтический мир сражений, удивительно легкой наживы. К тому же, в большинстве своем, они были пропитаны убеждением, что всё это делается ради сохранения незамутненной Христовой веры. Украинские

казацко-старшинские писатели, типа Г. Грабянки, полагали, будто казаки – это странным образом уцелевшее рыцарское сословие. Русские дворянские историки Г. Миллер, А. Ригельман, отстаивавшие имперскую политику царского правительства, утверждали, что казачество образовалось исключительно из беглых крестьян. А коль так – у него не имеется, дескать, прав на законное существование. Историография конца XVIII – первой половины XIX веков считала казаков организацией, основанной украинскими магнатами по инициативе польской королевской власти для защиты государственных границ. Сторонники так называемой норманнской теории были твердо убеждены, что казаки – выходцы из регионов Скандинавии, осевшие на славянских землях. Историк М. Каченовский видел в них представителей тюркских народов, не более того. Известный нам М. Максимович, наоборот, усматривал в казачестве социальную группу людей, а вовсе не этническую. Причиной образования казачества, как явления, называл он тесное татарское соседство, стало быть – исходящую оттуда опасность для правильной государственной организации жизни. Аналогичную точку зрения, по сути, отстаивал и русско-украинский историк Н. Костомаров. Казачество, по его словам, отнюдь не только украинское явление. Под этот термин ученый подводил широкие народные массы, протестовавшие против непосильных повинностей и всевозможных тягот.

Казак – слово тюркского происхождения, как и само, ве-

роятно, это явление. Слово означало вольного наездника, поступающего всегда по собственному усмотрению. Первоначально, надо полагать, казаки действительно являлись людьми татарского происхождения – в основном обитателями крымских и белгородских (на Днестре) улусов. Промышляя разбоем на широких степных пространствах между польскими, турецко-татарскими, а также московскими владениями, они часто переходили на службу к хозяевам отдельных краев и земель.

Вскоре, однако, термин «казак» распространился и на прочих удалцов в пределах очерченных нами пространств. В первую очередь это были люди, которые бежали от власти своих господ. Они устремлялись вниз по течению Днепра, за его знаменитые пороги. В большинстве своем беглецы оказывались украинскими холопами. Но не только ими. В низовьях Днепра собирались представители разных сословий и многих народностей.

Причины разрыва их с прежней жизнью выглядели также по-разному: одним угрожала виселица, другие подвергались частым гонениям, третьи никак не уживались нигде.

За днепровскими порогами все признавали себя сторонниками христианства, становились вроде бы воинами-монахами, защитниками православной веры. И в этом находили оправдание собственного существования.

Сооружали, со временем, примитивные жилища, так называемые курени. Курени состояли вперемешку из почвы,

древесных веток, травы. Накрывались они камышом да воловьими шкурами ради защиты от летних дождей, непогоды (на зиму мало кто оставался в пределах Сечи). Каждый курень обзаводился собственным атаманом, а все беглые объединялись в так называемый кош. Это тюркское слово означало вообще-то войско. На общей раде (совещании) казаки избирали главного (кошевого) атамана, которому в походах подчинялись беспрекословно, но в мирное время переизбирали без малейших укоров совести, подвергая при этом даже телесному наказанию.

Представительниц слабого пола в свой лагерь казаки не допускали ни под каким предлогом. Возникавшие споры решали по давним обычаям. Самая жесткая кара назначалась за кражи, за покушение на жизнь своего же собрата. Жили же большей частью тем, что удавалось прихватить в налетах или в очередных сражениях. Верхом шика у вольных наездников считалось прогулять захваченное и тем самым подстегнуть себя на новые подвиги. Но, вместе с тем, почитали за благо овладеть каким-нибудь стоящим ремеслом. Умели подковать коня, возвести халупу, изготовить оружие, «накурить» водки.

На зиму, понятно, сечевики возвращались поближе к знакомым местам, где обзаводились имуществом, семьями, содержали какое-никакое хозяйство, старались развивать даже промыслы. При всем этом нещадно сорили деньгами, дожидаясь малейших признаков очередной весны, чтобы опять

очутиться за так и манящими их Днепровыми порогами. И не в одиночку спешили туда. Сманивали таких же, как сами, буйных сорвиголов.

Становище свое казаки называли Сечью – от глагола «сечь», «делать засеки в лесах», покрывавших в те годы почти все днепровские острова. А поскольку становище это располагалось за порогами, то Сечь, естественно, обретала вдобавок эпитет «Запорожская». Первым ее местонахождением, как считалось в XIX веке, сделался остров Большая Хортица. Правда, впоследствии выяснилось, что на Большой Хортице Сечь никогда не базировалась, при этом довольно часто меняла места своего пребывания, поскольку казаки представляли собой большую помеху в глазах их соседей.

Прежде всего, пожалуй, неудобство сосуществования рядом с ними ощутило на себе турецкое правительство. Изготовив челны, так называемые чайки¹⁸, обитые по бортам свежесрезанным камышом, запорожцы спускались вниз по Днепру. Продвигаясь вдоль морских побережий, достигали нередко самого Стамбула, сея повсеместно смерть, разрушения, грабя всех подряд и тем самым демонстрируя свое величайшее презрение к чужим обычаям и богам. Провозгласив себя защитниками православия, освобождали невольников, иногда, правда, вопреки желанию последних, уже как-то невольно ассимилировавшихся со своими поработителями.

¹⁸ Некоторые наши современники в этих «чайках» воочию видят прообразы нынешних подводных лодок.

Турецкий султан, одобряя набеги собственных вассалов, совершаемые по отношению к славянским людям, с возмущением писал о запорожцах польскому королю, в подчинении у которого находились, как правило, днепровские пороги и острова, а равно и их обитатели. Все это вызывало напряжение в международных связях. Доходило до того, что «визиты» казаков припадали на самые неподходящие для того моменты: скажем, когда в Стамбуле пребывали как высокие королевские послы. А послам постоянно вменялось заверять султана и его приближенных, что подобных казацких нападений впредь никогда не будет.

Польское правительство, надо сказать, будучи крайне обеспокоенным ответными нападениями турок и крымских татар, выплачивало Порте богатую дань, называемую, правда, всего лишь подарками. Но могли ли эти «подарки» удержать татар и турок от аналогичной реакции на дерзости запорожцев? Более того, запорожцы под разными предлогами вторгались в украинские земли и нередко вели себя в них как настоящие вымогатели, полагая, что православное население и без этого перед ними в неоплатном долгу, как перед своими защитниками.

Каждый раз, когда казаки вторгались в пределы каких-нибудь воеводств самой Речи Посполитой, к ним присоединялись деклассированные элементы, готовые также сражаться за свое место «законное» под солнцем, не останавливаясь перед любыми жестокостями. Они получали название гайдама-

ки — опять же тюркское слово, означавшее «гонители», даже «грабители», «насильники». Особую роль гайдамаки сыграли в войске Богдана Хмельницкого, ядро которого составляли истые запорожцы. Зверства гайдамаков порой вызывали резкую отповедь самого Богдана Хмельницкого. Дошло до того, что однажды он повелел схватить Максима Кривоноса, самого энергичного гайдамацкого предводителя, и приковать его к пушечному колесу. В числе «подвигов» Кривоноса назывались приказы содрать кожу с пятнадцати тысяч евреев в городе Немирове. Просперу Мериме, автору специальной работы о Богдане Хмельницком, данное число казненных евреев показалось просто фантастикой.

Как бы там ни было, но то благоговейное отношение к запорожцам, которым впоследствии были переполнены произведения устного фольклора, выработалось уже впоследствии, когда все плохое и подозрительное поросло уже высокой и жирной травой забвения. В народной памяти осталось только действительно благородное, чистое, достойное славы и всяческого уважения.

Польские короли издавали один за другим указы, запрещавшие ходить в «Туреччину», — но это ничуть не меняло дела. Положение изменилось в лучшую сторону, когда король Стефан Баторий ввел в украинских землях так называемое реестровое казачество. Казаками объявлялись лишь те обыватели украинских территорий, которые попали в строгие реестровые списки. Они зачислялись на королевскую

службу, из казны получали жалованье.

Забегая вперед, укажем, что казачество в целом, в том числе запорожское, оказалось решающим фактором в сохранении украинцев как нации, в сбережении ими православной веры. Как утверждалось в «Истории русов», как происходило на самом деле, к XVII столетию все верхние слои украинского общества, высшее православное духовенство, были полностью «окатоличены». Без воздействия казачества, вдохновляемого священниками, которые, несмотря ни на что, оставались верными заветам предков, процесс этот стал бы абсолютно необратимым.

Однако в дальнейшем запорожское казачество сделалось помехой в планах русских царей, в стремлениях последних к централизованному государству. При Петре I украинское казачество было слишком здорово ущемлено в своих правах и возможностях. При Екатерине II, после подавления пугачевского бунта, который запорожцы с готовностью поддерживали, Сечь была ликвидирована полностью (1775). Остатки «братчиков» перетекали на Дон, Кубань, Терек, на Дунай. В большинстве случаев они послужили там базой для местного казачества, которое сыграло важнейшую роль в защите государственных границ, в сохранении спокойствия и порядка во всей огромной Российской державе.

В XIX веке запорожские казаки овеяны были дымкой романтики. Новая украинская литература, особенно в лице Тараса Шевченко, прославляла их на все лады. Однако славов-

слово это не стало всеобщим. Известный уже Пантелеймон Кулиш, поначалу ярый козакофил, в конце концов переменил свои взгляды и написал стихотворение с благодарностью Екатерине II, в которой прославлял ее ограничительную по отношению к Украине политику. «Спасибо, мама, что ту гадюку ты задавила...» Под гадюкой Пантелеймон Александрович понимал Запорожскую Сечь.

* * *

Так что же все-таки было известно литератору Гоголю-Яновскому об украинских казаках, в частности – запорожских, когда принялся он за повесть, ставшую впоследствии знаменитой, в которой именно запорожцы выступают главной движущей силой?

Мы, наверняка, уже убедились, что специальной научной литературы по данному вопросу в те поры почти не водилось. Знания автора повести «Тарас Бульба» базировались в основном на фольклоре и на бытовавших в народе преданиях, слухах, личных воспоминаниях. Гоголь-Яновский знал одно: своих сыновей казаки отдавали в учебу, считая это вопросом личного престижа, однако не усматривая в том для себя никакой абсолютно пользы. Быть может – вполне справедливо. Система образования тех времен носила преимущественно схоластический характер. Сочетание знаний с военной выправкой, с умением пользоваться, владеть оружи-

ем, с походным образом жизни, казалось полнейшим нон-сенсом.

Наилучшим местом для обучения юных казацких отпрысков во все времена считался Киев. Его академия, созданная путем слияния так называемых Братской и Лаврской школ, первоначально носила название коллегиум. Детей отдавали в нее еще в слишком раннем возрасте, обучали не менее восьми-десяти лет, тогда как для многих этот процесс растягивался до бесконечности – лет на пятнадцать, а то и на целых двадцать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.